



Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

Луи Арагон

Римские свистания





Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

Louis Aragon

Луи Арагон

Римские свидания

Рассказы

Перевод с французского

*Составление и предисловие
Т. Кудрявцевой*

Москва
«Известия»
1984

И (Фр)
А79

Главный редактор Н. Т. Федоренко

Рецензент М. Ваксмахер

На обложке — картина А. Матисса «Голубая ваза с цветами на синей скатерти»

© Aragon, 1980

© Составление, предисловие, оформление, переводы на русский язык, кроме отмеченных знаком *, издательство «Известия», журнал «Иностранная литература», 1984.

Несколько слов о большом писателе и неизменном нашем друге

В 1957 году писатель-коммунист Луи Арагон приехал вместе с женой Эльзой Триоле в Советский Союз отмечать свое шестидесятилетие. Он приехал в дни своего юбилея в Москву, на родину коммунизма — учения, которому на протяжении всей жизни оставался неизменно верен.

К этому времени многие прозаические произведения писателя были уже переведены на русский язык, и издательство «Художественная литература» задумало публикацию собрания его сочинений. В первом томе шел роман «Базельские колокола» в переводе Эльзы Триоле, открывающий цикл «Реальный мир». И когда стало известно, что писатель едет к нам в Москву, естественно, решено было преподнести ему к юбилею первый том. Времени оставалось мало, но так велико было желание успеть, что и автор этой статьи, которая была редактором собрания сочинений, и корректоры, и наборщики Первой Образцовой типографии работали буквально день и ночь.

Юбилей отмечался при большом стечении народа в Зале имени Чайковского. Вел вечер давний друг Арагона еще со времен гражданской войны в Испании Константин Симонов. Выступали ведущие наши поэты, прозаики, деятели культуры — а у Арагона среди нашей творческой интеллигенции было много друзей. Сцена буквально утопала в цветах, делегации творческих союзов, музеев, предприятий с адресами, с подарками сменяли друг друга, но когда мы вручили наш скромный дар — первый том собрания его сочинений, Арагон прослезился: этот большой поэт и писатель в ту пору не был избалован вниманием у себя в стране.

«Я вспоминаю,— сказал тогда Арагон,— как в горах Франции я слушал по радио бой часов на Красной площади и шум московских улиц... и как я думал тогда: «И мы тоже»*,

* Имеется в виду участие французского народа в борьбе против фашизма.

всего лишь эти слова, которые сулили все самое хорошее, великое, благородное и чистое для моей родины».

Человек удивительно зоркий, живо откликавшийся на все происходящее в мире, Арагон посвятил себя и свое перо служению идеалам гуманизма и прогресса. Когда разразилась вторая мировая война и его любимая Франция оказалась под пятой фашизма, Арагон присоединился к свободолюбивым сынам своей родины — и он сам, и Эльза Триоле стали активными участниками Сопротивления. Позывными для самолетов союзников, доставлявших партизанам оружие и боеприпасы, была строка из стихотворения Арагона.

Помню, в 1960 году, когда я впервые приехала во Францию и позвонила Арагону, он тотчас явился ко мне в гостиницу и, едва дав время умыться с дороги, повез показывать Париж — не Париж богатых кварталов, а Париж исторический и Париж сражавшийся. Он показал маршрут, которым ездил на велосипеде, развозя во время войны подпольные листовки. Поводом же для нашей поездки по Парижу послужило одно забавное обстоятельство. В 1958 году вышел в свет роман Арагона «Страстная неделя», его почти тотчас решили переводить у нас, и мне поручили редактировать русский перевод. Обнаружив в тексте, что герой, художник Теодор Жерико, направляясь верхом в Лувр, проезжает под Триумфальной аркой на площади Карусель, я, никогда не бывав раньше в Париже, но из литературы зная, что Триумфальная арка стоит на площади Звезды, написала Арагону, что он, видимо, ошибся — назвал не ту площадь, и попросила разрешения исправить в русском тексте ошибку. Пришел короткий ответ: «Нет. Никаких исправлений». А когда я через три года приехала в Париж, Арагон сразу об этом вспомнил, и первое, что он мне показал в нашей поездке по городу, была изящная маленькая Триумфальная арка перед Лувром на площади Карусель.

В 1960—1970 годы я часто бывала в Париже и много общалась с Арагоном. И его и Эльзу интересовало все, что происходило в нашей стране, хотелось услышать самые последние новости — естественно, прежде всего новости в области культуры: какие появились новые писательские имена, новые

книги, новые спектакли, кинофильмы, какие открылись выставки. Как раз в эту пору в круг интересов Арагона попал Чингиз Айтматов. Прочитав «Тополек мой в красной косынке», Арагон, который был тогда главным консультантом издательства «Галлимар» по советской литературе, тотчас порекомендовал повесть к переводу и публикации. А когда Айтматов приехал во Францию, Арагон устроил ему встречи с издателями, написал о нем в «Юманите». Так началась дружба между двумя большими писателями, которая продолжалась до последних дней жизни Арагона.

Наш друг вообще немало сделал для популяризации советских писателей во Франции. Произведения советских авторов выходили и в издательстве «Эдитер франсэ реюни», и в издательстве «Галлимар» в серии «Советские литературы». Помимо книг М. Шолохова, М. Горького, А. Толстого — не говоря уже о русской классике — французский читатель, в значительной степени благодаря Арагону и Эльзе Триоле, познакомился с Г. Марковым, Ю. Бондаревым, Г. Баклановым, Ю. Нагибиным, С. Залыгиным, Д. Граниным, В. Распутиным, С. Беловым и многими другими. Эльза Триоле много читала и рекомендовала Арагону обратить внимание на того или иного автора. Во Франции зазвучали стихи А. Вознесенского и Е. Евтушенко, песни Окуджавы и Высоцкого.

Так сложилась судьба Арагона, что Франция по-настоящему признала его талант лишь уже на закате жизни. Еще в начале 1960-х годов Арагон и Эльза жили в крошечной двухкомнатной квартирке в одном из переулков близ улицы Риволи. Вас проводили в большую темную (так как окна выходили во двор), заставленную мебелью комнату, которая служила и столовой, и гостиной, и кабинетом, и музыкальным салоном — добрую треть комнаты занимал рояль.

Работал Арагон тогда в Национальной библиотеке и много писал. Один за другим выходили сборники его стихов — «Глаза и память», «Неоконченный роман», «Эльза», «Поэты», в 1958 году, как уже говорилось, вышел его роман «Страстная неделя», получивший очень хорошую прессу, в 1965 году — роман «Гибель всерьез». Популярность Арагона росла, росли

и гонорары, что позволило писателю перебраться в более просторную квартиру на улице Варенн, где у него появился свой кабинет и было достаточно места, чтобы расставить все книги, а их было множество.

Квартира находилась на третьем, мезонинном, этаже старинного дома, стоящего в глубине большого четырехугольного двора. С двух сторон во двор выходили глухие стены соседних особняков. «Когда мы только сюда переехали,— рассказывал Арагон,— к нам в гости пришел Пикассо, с которым мы очень дружили, посмотрел на наш двор и сказал: «Как уныло выглядят эти серые стены, особенно, наверно, в плохую погоду. Хочешь, я распишу одну из них — сделаю несмываемую фреску? Вот ты выйдешь из подъезда, и прямо на тебя будет скакать твой Жерико». Арагон, естественно, пришел в восторг от такой идеи — еще бы: фреска Пикассо в собственном дворе. Но требовалось согласие владельца одного из домов, да и согласие обитателей собственного дома. Арагон столкнулся с решительным «нет»: это-де будет нас раздражать. «К сожалению,— сказал он,— в ту пору еще не все понимали, что такое Пикассо. А далеко не всем людям можно что-либо втолковать». Так и остались стены двора голыми.

Через всю жизнь Арагон пронес любовь к своей жене, соратнику и другу — писательнице Эльзе Триоле. Многие его стихи и целые сборники посвящены ей. Еще при ее жизни Арагон задумал уникальное «мозаичное» собрание сочинений, где тома его собственных произведений перемежаются с романами Эльзы Триоле. Арагон задумал это собрание сочинений как олицетворение духовной общности и творческого содружества двух писателей.

И когда Эльзы не стало, Арагон продолжал публиковать ее книги, а свою квартиру превратил в музей ее памяти — вы поднимались по широкой парадной лестнице, потом по узенькой лесенке, ведущей в мезонин, открывалась дверь в квартиру, и вас встречал огромный, почти до потолка, портрет Эльзы, а под ним, на столике — все ее книги.

В 1977 году, когда наша страна отмечала 60-летие Октябрьской революции, Арагон по приглашению Комитета по между-

народным Ленинским премиям, членом которого он был, так же как и лауреатом Ленинской премии, приехал в Москву. Приехал со своим другом, греческим поэтом-коммунистом Яннисом Рицосом, и тремя актерами, игравшими пьесу Рицоса в переводе на французский, выполненном Арагоном.

Арагон не был у нас двадцать лет. Облик Москвы, внешний вид людей на улицах — все поражало его. «Ничего не узнаю. Ничего», — говорил Арагон, когда мы ехали из аэропорта Шереметьево.

Но все снова стало на свои места, когда он увидел Гранина, Чингиза Айтматова, Майю Плисецкую, Родиона Щедрина и многих других. «Нигде я не чувствую такого человеческого тепла, как у вас», — говорил Арагон после вечера в ЦДРИ, где Константин Симонов читал переводы его стихов, а потом было большое застолье и друзья тепло чествовали Арагона, вспоминали Эльзу, былые дни. А какими овациями встретил его зал в Музее им. А. С. Пушкина, где среди греческих скульптур французские актеры играли пьесу Янниса Рицоса!

За этот месяц, что Арагон провел у нас, ему хотелось побывать всюду, где любила бывать Эльза. Осмотрев в ленинградском Эрмитаже экспозицию французских импрессионистов, которая поразила нашего гостя своим богатством, мы отправились на розыски лестницы, которая особенно нравилась Эльзе. Объяснить, какая это лестница, Арагон не мог. Поэтому мы обошли все лестницы Зимнего дворца одну за другой. Арагон без устали ходил по огромному дворцу и все говорил: «Нет, не та, нет...» И, как часто бывает, эта лестница оказалась, конечно, последней. Арагон долго стоял у узорных перил, смотрел вниз на пролеты беломраморной лестницы, сказал: «Вот по ней мы с Эльзой входили в Эрмитаж (Арагон ведь прекрасно знал живопись, доказательством чему может служить его книга эссе «Матисс» — и добавил: — А теперь поехали в гостиницу. Я устал».

Арагон присутствовал на торжественном совместном заседании ЦК КПСС и Верховных Советов СССР и РСФСР в Кремле, на заседании Комитета по международным Ленинским премиям, присудившего в тот раз премию Яннису Рицосу.

Советское правительство, отмечая большие заслуги Арагона, писателя-интернационалиста, наградило его в связи с 80-летием орденом Дружбы народов. «Я давний друг Советского Союза,— сказал Арагон, принимая орден.— Когда я впервые приехал в вашу страну, в ней еще заметны были следы гражданской войны. Впоследствии каждый раз, когда я приезжал к вам, я видел, как менялся облик вашей родины. Но то, что я увидел сейчас, превосходит все слова, которыми я мог бы выразить свое восхищение перед огромными переменами, происшедшими в вашей стране за столь короткий срок. Ведь шестьдесят лет — это всего лишь срок одной человеческой жизни. Сейчас в странах Запада многие люди не уверены в завтрашнем дне... Спасибо за то, что существует ваша великая страна».

Арагон много работал до последнего своего дня. В издательстве «Галлимар» выходило 18-томное собрание его поэзии, снабженное пространными примечаниями автора: Арагон рассказывает, при каких обстоятельствах было написано то или иное произведение, с чем оно связано, чему посвящено, что происходило в ту пору во Франции и в мире вообще. Получилось своеобразное сочетание труда поэтического с мемуарной публицистикой, но, к сожалению, смерть оборвала это издание на 11-м томе, да и старик Галлимар умер, а его сын, человек уже другой формации, едва ли станет продолжать такое издание, даже если в архивах поэта и есть материал, который позволил бы закончить публикацию.

Арагон оставил большое наследие. Это и четыре романа цикла «Реальный мир», написанные в предвоенные годы: «Базельские колокола» (1934), «Богатые кварталы» (1936), «Пассажиры империала» (1942) и «Орельен» (1944). Роман «Пассажиры империала» Арагон дописывал уже после начала войны; он увез с собой на фронт гранки и правил их в Дюнкерке. Набор книги был уничтожен в парижской типографии во время бомбежки, и потом книга заново набиралась уже по авторскому экземпляру. Роман вышел в оккупированной Франции в 1942 году и был сразу же запрещен фашистскими властями. По сути дела он увидел свет лишь в 1947 году.

Большое значение в творчестве Арагона имела пятитомная

эпопея «Коммунисты», вышедшая в 1949—1951 годах. После XX съезда КПСС Арагон многое пересмотрел в ней, расширил, и переработанное издание увидело свет в 1967 году. Эпопея «Коммунисты» — это приговор реакционной Франции. В ней Арагон разоблачает реакционную буржуазию, способствовавшую — вопреки интересам народа — развязыванию второй мировой войны, показывает предательство буржуазных партий, продажность буржуазной прессы. «Наш товарищ Арагон, — писал в связи с выходом эпопеи член Политбюро ФКП Марсель Кашен, — внес новый выдающийся вклад в дело борьбы французского народа и борьбы за историческую правду».

В своих трех последних романах («Гибель всерьез», «Бланш, или Забвение» и «Театр/ роман») Арагон выступает уже не только как писатель-психолог, но как философ, анализирующий многогранность человеческой личности, связь истории с современностью, связь человека с окружающим миром. Написанные в новой для Арагона манере, эти романы по форме экспериментальны, по некоторым своим положениям — спорны, но они свидетельствуют о том, что и на закате жизни Арагон продолжал остро интересоваться людьми, проблемами своего времени, меняющимся обликом мира.

В 1980 году Луи Арагон выпустил сборник рассказов «Правда-ложь», последнюю книгу, увидевшую свет при жизни писателя. В ней собраны рассказы разных лет — написанные давно, посвященные войне и Сопротивлению, и рассказы 70-х годов, посвященные уже мирной жизни и прежде всего молодежи, к которой всегда тянулся Арагон. Думается, такой подбор не просто оправдан, а удивительно характерен для Арагона, которого всегда волновали проблемы, встающие перед человеком в условиях мира и особенно войны. «Да разве есть такой народ, который приветствовал бы войну?» — восклицает он, обращаясь к читателям газеты «Правда» в своем интервью 18 ноября 1977 года. И отвечает: «Только безумцы жаждут ее. Люди труда ненавидят войну». Сегодня эти слова звучат особенно актуально.

Представляя читателю данную подборку рассказов, которые, по нашему мнению, не требуют особого анализа, ибо

герои Арагона, изображенные им жизненные ситуации и коллизии ясны и понятны, мы старались показать многогранность интересов писателя и разнообразие его почерка: к примеру, «Наседка» или «Слепой» написаны иначе, чем «Шекспир в мебелишках» и тем более — «Поджог». Главное же — нам хотелось воздать этой книжкой дань памяти большого писателя и поэта, оставившего во французской да и в мировой литературе яркий след.

Татьяна Кудрявцева

Римского права больше нет

Ах, до чего скучно такой девушке, как я, торчать в этом французском городишке! Пойти некуда, купить нечего, мужчины здесь чернявые и плюгавые, а лавочники лебезят так... отхлестать бы их хорошенько! Послушать музыку и то негде. Наш гарнизон — что уж о нем и говорить!.. Силезские немцы такие неповоротливые, такие тупые... Ухаживают все на один манер. Пока не уехала Пупхен*, было еще так-сяк: она довольно занятная, все читала вслух свои письма, умом не блещет, но язычок у нее острый, и о мужчинах рассуждает как надо; мы всюду ходили вместе, это нам придавало пикантности.

Одно время в гостинице «Центральная» жили итальянцы. Глаза у них красивые. Только вот кончили они плохо... Перед отправкой колонну гнали по городу, господа, на что они были похожи!.. На каждую сотню итальянцев — один наш конвоир! Жалкое зрелище...

Есть, правда, спортивный магазинчик, там еще бывают хорошие шерстяные свитера. Но это не мой стиль. Я послала десять штук Клерхен. На ней они тоже плохо сидят. Хуже, чем на мне. Она написала, что я прелесть. Еще бы, какой потрясающий подарок! Местным жителям очень даже пригодились бы такие свитера, но им разрешают покупать только на боны, а может быть, только по карточкам, я в этом плохо разбираюсь. Одеты они бедно, вещи старые, в заплатках. Женщины совсем не элегантны, а уж чего только не наговорили про их тонкий вкус!.. И даже не красивы. Тощие, как драные кошки. Силезцам, конечно, нравится. Это в их стиле.

* Куколка (нем). (Здесь и далее — примечания переводчиков.)

На площади, рядом с «Золотым колоколом», есть небольшое кафе под названием «Дофине»*, в стиле Трианона**, преобладает белый цвет. За неимением лучшего, выпиваю там свою чашечку кофе. И иду на работу. Кофе совсем не мокро. Кафе и вовсе не Трианон. Сюда бы оркестр, так охота послушать вальсы... Кругом мрачно, убого: захудалый городишко, посетители все знакомы друг с другом, два-три юнца — здешняя золотая молодежь — притворяются, что с интересом разглядывают дам, неумело подкрашенных, не первой молодости, жен мелких чиновников. О господи, до чего же обыкновенно, просто ужас, какое у них есть на этот счет слово? Вспомнила — преснятина, вот именно преснятина. А Буби еще думает, что ему было бы здесь лучше, чем на русском фронте! Так прямо и пишет... Несет сам не знает что.

Хорошие манеры только у этого офицера из гестапо, обер-лейтенанта, и взгляд у него какой-то особенный. Он любитель литературы. Я взяла у него почитать один французский роман, не помню уж, как называется. Автор — знаменитость и наш большой друг. Я там ничего не поняла. Хотя и жила какое-то время в Швейцарии. Обер-лейтенант спросил: "C'est cochon, hein?"*** Он вообще говорит по-французски, как настоящий француз. Мне так не показалось. У меня другое представление о том, что пробирает. Французы ничего прямо не говорят. А я люблю, чтобы со мной говорили и действовали напрямик. Это мой стиль. Не так, конечно, как силезцы. Те лезут напролом! Да, но вот обер-лейтенант... скорее всего, я не в его стиле. И потом, он так занят; его специальность — евреи. Где он их только не выискивает!.. Можно подумать, сам разводит. Сам затем и уничтожает.

Нас шестнадцать девушек в «Метрополе», маленькой смешной гостинице, вытянутой вверх. Живем как в школьном пансионе. По вечерам слушаем радио. Душ принимаем все вместе, трем друг друга жесткими рукавицами. Я уже вышла из школь-

* Дофине — историческая провинция на юго-востоке Франции, в Альпах. Главный город — Гренобль.

** Трианон — Большой Трианон и Малый Трианон, два увеселительных замка в версальском парке.

*** Ну как, похабно? (*франц.*)

ного возраста. И по-настоящему мне нравится только Пупхен. Теперь она в Париже, писем мне не шлет. Развлекается, поди, вовсю. Тоска берет, как подумаешь, что кто-то другой в это время развлекается!..

Одна радость — заседания трибунала. Они бывают три раза в неделю. Я на них присутствую с тех пор, как стала секретаршей майора фон Лютвиц-Рандау. Майор — военный судья. Жаль, он уже немолод. Я предпочитаю молодых. Сам майор не очень-то занятный, зато кого тут только не увидишь!.. Французов, коммунистов, убийц. И наших солдат, когда их судят за то, чего делать нельзя, и за дезертирство. Странно, я ненавижу дезертиров, но они меня интересуют. А один раз судили эсэсовца, он переспал с еврейкой. Да еще с такой, которая сама этого хотела. Жутко интересно! Пробирает похлеще, чем дезертирство.

Само собой, майор ко мне равнодушен. Но он не любит действовать напрямик, и потом, он очень стеснительный: ему бы не хотелось, чтобы люди знали. А мне плевать, знают они или не знают... Вообще-то он мог бы вести себя понапористее, хотя и не обязательно лезть напролом, как силезцы. Да, жаль, что ему много лет. Он принадлежит к тому типу мужчин, у которых нет в лице ярких красок, волосы светлые, к сорока обычно темнеют и редеют, а у глаз появляются морщинки. Возможно, какие-нибудь тайные пороки у него и есть. Он не знает французского, как обер-лейтенант из гестапо. Поэтому иногда спрашивает у меня какое-нибудь слово. Каждый раз такое простое, ну такое простое... Страшно хочется подсказать ему вместо этого какое-нибудь похабное словцо!.. Итальянцы научили меня всяким таким словечкам. Он громко произнес бы то, что я подсказала. В присутствии обвиняемых. Вот уверена, произнес бы... Но я не имею на это права. Из-за моей партийности. Нельзя забывать, что я член партии. Интересно, майор в наших рядах? Эти аристократы обычно не способны понять, что такое национал-социализм и кто такой наш фюрер. Не знаю, вправе ли я принимать ухаживания господина фон Лютвиц-Рандау... Напишу-ка своему Буби, пусть посоветует. Он как прочтет, так сразу полезет под большевистские пули... С него станется!..

Бедненький Буби... Дать себя убить — это уж слишком. Вот без одной ноги я могу его представить... Это бы даже придало ему пикантность. С двумя он слишком симметричен. Здорово надоела его правильная красота. Зато он прямой и напористый. Что да, то да. Я получила от него из Одессы очень красивые вещи. Надо отдать должное, он человек со вкусом. Разве что воображения маловато. В сущности, мне нужен кто-то, кто был бы и не совсем Буби, и не совсем Пупхен. И вот — надо же! — я обзавелась теперь этим фон Лютвиц-Рандау... Смех, да и только... Но мне не смешно. Скучно до чертиков.

Не буду я советоваться с Буби. Пускай майор ухаживает. Придется только подучить его напористости. Женщина в конце концов имеет право на то, чтобы с ней поступали решительно. Мужчины, на что они вообще тогда сдались? Мне так осточертели и эти силезцы, и эта Франция, а от Пупхен ни строчки. Ну что за жизнь!.. Хоть бы чуточку музыки!..

Не могу же я убивать свое свободное время только в парикмахерской, где они выливают мне на голову все мало-мальски дорогое, что у них осталось, делают вибромассаж лица, кладут всевозможные кремы, и молодой армянин втирает их в кожу пальцами. Так не хватает музыки, что хочется выть. Займемся майором. Все-таки в нем что-то есть. Да и возраст важен только для женщины. На возраст мужчины... можно закрыть глаза.



Немецкий трибунал помещается в большом здании, которое никак не гармонирует с тем, что в нем теперь происходит, как, впрочем, и со стилем века, и самого города. Постройка принадлежит к какой-то давней эпохе. У автора нет под руками путеводителя Бедекера, и он лишен возможности рассказать историю строения. Оттого, что оно очень высокое и очень черное, прилегающие улочки кажутся еще уже, чем на самом деле, черные стены в белесых дождевых потеках, полосатые, как зебры. Дом венчают скульптуры, некогда, конечно, символические: цереры, юноны из темного камня, геркулесы и сатиры, корзины, переполненные гигантскими плодами. Они подавляют все вокруг. Причудливое сочетание деревянных балок и тяже-

лых каменных плит свидетельствует о неискоренимости средневековья в недрах самого Возрождения, о том, что местные традиции одержали верх над усилиями итальянских зодчих. Крыша сильно выдается вперед, под ней — птичьи гнезда. Но никто не запомнит, чтобы оттуда вылетела хоть одна птица. Они пусты.

Зато внутри залы, слишком высокие даже для нынешнего, худо-бедно приспособленного освещения, служат пристанищем для летучих мышей, их полет где-то под потолком лишь смутно угадывается. Бегство испуганных теней в каменное поднебесье — словно отголосок давних трагедий. Коридоры стойко сопротивляются общему барочному стилю нелепого сооружения, ни один не следует взятому курсу, каждый стремится повернуть или отклониться в сторону, их дробят на короткие отрезки — слева и справа — массивные скрипучие двери, в каждой — тюремное окошечко, забранное бесполезной железной решеткой.

Монументальные лестницы, громоздкие деревянные балконы нависли над темными мрачными хорами; пол каменный, холодный — устилавшие его ковры исчезли. Как все здесь кипело и бурлило когда-то!.. И как однажды внезапно замерло! Остались только складки на потертых обоях, только блики на потускневших оконных стеклах... Вероятно, это было логово крупных хищников — под стать их необузданным аппетитам и объем гигантской пещеры. Это происходило, конечно, во времена испанской оккупации — той самой, единственной, настоящей, — когда герцог Валентинуа, сын римского папы Александра VI, кружил по комнатам, смуглый и худой, пожелтевший от лихорадки, и высматривал укромные уголки, где можно было бы спрятать верных ему убийц. В этом городе, который ему принадлежал, но служил всего лишь привалом на пути из Рима в Испанию, он проверял действие ядов, с помощью которых намеревался захватить Италию. Здесь его сподручные тренировались *in anima vili*, так сказать, на живом материале, в искусстве владеть стилетом и удавкой. Здесь народ-пасынок, пестрая смесь из швейцарцев и мавров, горцев и ратников, расплачивался за опыт, которого набирался человек по имени

Чезаре; позже, на римских подмостках, искусство обретет масштаб и совершенство, здесь же проходила лишь кровавая репетиция, о подробностях которой история молчит до сих пор. В те времена человеческая жизнь ничего не стоила, в цене были пышные речи и картины из Флоренции или Сиены. Бывало, доги сжирали на господской кухне объедки с тарелки отравленного гостя, и псов хоронили публично.

Эти и другие воспоминания, мрачные тени прошлого, по ночам бились о потолок в испанском стиле, оставляя глубокие трещины. Воспоминание о том, как пятидесятивосьмилетняя королевская любовница разгуливает голышом на глазах у всего двора, и единственное, что ее смущает — небольшая складка на шее, которую она скрывает под бархоткой с топазом. Или о том, чем озабочены королевские наместники, затянутые в камзолы со множеством серых и черных пуговиц, с белыми кружевными манжетами и жабо. Провинцию разоряют и грабят, и это дело рук не принца и не чужеземца, а удалого разбойника, уроженца здешних мест, где так много гор и ущелий. И вот, наконец, он схвачен, колесован, на площади огласили сатанинское имя Луи Мандрена. Ему перебили конечности, пытали водой, жгли раскаленными прутьями, чтобы выяснить, бесовского ли он происхождения. И, наконец, четвертовали.

Вот видите, нас не запугаешь, мы всё это знаем, у нас богатый опыт по части всякого рода заплочных дел, видите, ничего нового вы не придумали, вы, такие ничтожные, такие маленькие-маленькие, еле различимые за своим столом, заваленным папками с судебными делами, там, в углу одного из залов, где в дверях замерли два солдата с автоматами: серые, гладко бритые, в зеленых касках, которые защищают их от птиц; вы мучаете торговцев фруктами, домашних хозяек, рабочих с Арсенала, крестьян... ничтожные маленькие боши, вы еще зачем-то ломаете комедию судопроизводства под портретом фюрера, портретом, который сменил картину с изображением Христа, принадлежавшую герцогу Чезаре Борджиа, вы, серые и зеленые людишки: мужчина в очках (в пенсне он прочесть ничего не может), рядом девица, протоколистка, таких здесь прозвали мышами за серое форменное платье с белым воротничком;

конвоир вводит очередного подследственного, выбрасывает руку вперед и рывкает: «Хайл'ер!», и снова скребет по бумаге перо, под самым носом у низко склонившейся девицы, упитанной, ненакрашенной, с бледными губами и глазами змеи, протоколистки фройляйн Мюллер, или Лотты, как называет ее мужчина в очках, майор фон Лютвиц-Рандау,— как он называет ее, когда они остаются одни, без подследственных, без автоматчиков, без членов игрушечного судебного аппарата, без обер-лейтенанта с его докладами-доносами на похабном французском, одни под сумрачным взглядом веков, вззирающих на них с высоты зала, где летучие мыши укрылись за портретом Гитлера, стыдливо завешенным комбинацией и панталонами фройляйн Лотты, которая закрывает глаза, чтобы не видеть глаз майора фон Лютвиц-Рандау, когда он без очков и без пенсне.



Куда это опять девалось мое пенсне? Без пенсне я уже ничего не вижу... Поэтому для меня все женщины на одно лицо. Струйка дыма, не более. Лотта в том числе. Ах, вот оно, пенсне! Интересно, все ли близорукие мужчины не отличают одну женщину от другой? Что та, что эта, какая разница... Лотта или моя Труда, неважно. Только в романах женщины кажутся очень разными. Возможно, все дело в диоптриях... Конечно, когда я в пенсне... но ведь есть обстоятельства, при которых не будешь же ты в пенсне... Дым! Дым! Женщины всего лишь струйки дыма. Сегодня утром было еще очень прохладно. Я прочел исключительно интересную статью в «Völkischer Beobachter» об эволюции германского права. Любопытно, там есть многое из того, о чем я сам думал еще в 1925 году, за восемь лет до прихода к власти нашего фюрера, и даже решился изложить в своей диссертации «De jure germanico». Получается, что хоть я всего лишь примкнувший, между национал-социализмом и мной существуют давние и глубоко волнующие кровные связи. Я сказал об этом молодому обер-лейтенанту, который увивается за Лоттой, носит ей разные книжки, и все это, уверен, лишь для того, чтобы вывести у нее мой образ мыслей.

Он усмехнулся и ответил: есть только одна истинно германская концепция права, и принято считать, что она принадлежит Бисмарку: сила выше права. Но, во-первых, эта концепция была известна и до Бисмарка, а во-вторых, и это главное, она просто констатирует факт, она не выявляет связи между фактами, а эта связь при неблагоприятных обстоятельствах может служить веским аргументом. Дело в том — молодой обер-лейтенант этого не понимает, — что для Германии выгодно не только оправдать свою победу, но в случае поражения сохранить военную машину, а это и есть то самое, что я называю германским правом, *jus germanicum*; когда же я ему объясняю, так, между прочим, он начинает иронизировать: зачем, мол, думать о поражении, раз мы его не хотим? Опасный молодой человек, скажу Лотте, пусть остережется.

В вопросах права, надо признать, наш фюрер — вдохновенный гений. Отменить все законы во имя национальных интересов, так что судья при вынесении приговора руководствуется в конечном счете тем, в чем видит интересы германской нации, — для этого, несомненно, надо обладать истинно германской решительностью. Это можно сравнить разве что с концепцией права времен Сигизмунда* и Зиглинды, когда во имя чистоты расы инцест был признан моральной нормой. К сожалению, мы мало что знаем о законах тех лет. Сейчас же речь о том, чтобы создать такую юридическую терминологию, которая бы давала только немцам возможность использовать правила, выгодные для своей страны, иначе при определенных обстоятельствах те же правила могут быть обращены и против них самих. Именно в этом наш долг, долг юристов старой школы, воспринявших новые идеи. Молокососам из гестапо эта задача не по плечу, они не имеют представления о силе слов и не понимают необходимости несколько переиначивать их смысл в соответствии с идеалами Великой Германии, не понимают того, чем, в сущности, годы и годы занимается наш фюрер.

Весь мир должен задуматься над его опытом. Даже среди французов кое-кто это понял. А мы невольно упускаем из виду,

* Сигизмунд Люксембургский (1368—1437), с 1410 г. — император «Священной Римской империи».

занимаясь изо дня в день своим ремеслом. Я Лотте говорил. Конечно, у себя в трибунале мы видим одних подонков, это так. И начинает казаться, будто все французы против нас. Что совершенно неверно! Доктор Гримм нам это объяснил в своей лекции. Он очень мило ее прочитал. Лекция мне понравилась. Я вообще люблю лекции. Лекции хорошо прочищают мозги, после них многое становится яснее. Все равно что вдруг найти пенсне, которое потерял.

На лекции доктора Гримма я был без Лотты. Мне надо быть осторожным. Девушки пришли все вместе, а наших солдат привели строем. Получился очень удачный франко-германский вечер. На возвышении, рядом с начальником гарнизона Трайшке и офицерами-летчиками, — французы, каких никогда не увидишь в трибунале. Наши друзья. Префект, мэр, муниципальные советники, шеф полиции, глава крестьянской корпорации... Глава крестьянской корпорации производит очень приятное впечатление... Он совсем не похож на крестьянина. Высокий блондин, не первой молодости. У него, как и у меня, двойная фамилия. Но без частицы «de», то есть не дворянская. Двойная, очень французская. Забыл. Но очень, очень французская. Он, видно, из тех, кого здесь называют республиканской аристократией: Вальдек-Руссо, Леруа-Больё, Панар-Лёвассор и прочие. Доктор Гримм очень мило прочитал эту свою лекцию, право, очень, очень мило. Он читал ее по-французски. Языком доктор владеет свободно, говорит совершенно без акцента. В воспитательных целях это очень важно. Я вообще люблю слушать правильную французскую речь. Для всех наших в зале весьма полезный урок. До войны доктор Гримм работал в Париже, в сфере сближения двух наших стран. Его не посмели выслать, когда Народный фронт развязал враждебную кампанию против его превосходительства Отто Абеца*. Доктор объяснил нам, как нас любят истинные французы, те, кто раньше так страдал от еврейского засилья.

От французов, тоже очень мило, выступил глава крестьянской корпорации. Он ветеран франко-германской дружбы, еще

* Отто Абец — посол фашистской Германии во Франции. После войны осужден как военный преступник.

до войны приезжал в Нюрнберг, на съезд национал-социалистской партии, и даже удостоился чести быть представленным нашему фюреру. Что за прекрасная интуиция у нашего фюрера на людей, которые чего-то стоят! Подумать только, этот замечательный человек с таким громким, по-республикански аристократическим именем прозябал тогда в полной неизвестности, без всякого серьезного дела. Слушая его, мы все поняли, что настоящая Франция с нами, что она против большевизма и против Англии. Есть даже, кажется, один епископ из Французской Академии, который собирался ехать на восточный фронт и воевать там с большевиками за свободу снежных русских степей, но ему помешали годы. Значит, не все епископы такие, как эти паршивые прелаты у нас в Германии, которые в своих проповедях выступают против нашего фюрера, против эвтаназии и многих других принципов нашего третьего рейха.

Доктор Гримм — дальний родственник моей Труды, так что я действительно не мог, хоть дисциплина теперь и... Лотте я объяснил, но она все равно злилась. Ей скучно с другими нашими девушками. И потом, она меня обожает, даже зовет меня Kätzchen*. Я думал, такое со мной никогда уже больше не приключится. С 1917 года никто меня так не называл. Труды уменьшительных слов не любит. Она зовет меня «mein Schatz»**.



«Kätzchen!— Лотта Мюллер нагнулась, чтобы подтянуть свои серые нитяные чулки,— не сходишь ли ты за рюмкой коньячку?»

День стоял ясный, но несколько ветреный. Они были чем-то вроде живой детали пейзажа в самом низу картины: за столом — массивную ножку которого составляли крест-накрест положенные поленья — в саду ресторана. Официантка не слышала, когда ее звали из сада: ресторан был на некотором расстоянии. Сюда вели три ступени, в центре — бар и основной зал, в правом крыле, более поздней постройки,— бан-

* котик (нем.).

** мое сокровище (нем.).

кетный, с начала войны закрытый, с левой стороны — навес для садовых инструментов. Сад был густой, беспорядочно заросший, тисовый кустарник, когда-то аккуратно подрезанный, замысловато разгораживал его на небольшие отсеки, повсюду торчали странные зеленые дровишки, этикие тросточки с курчавыми листьями, неведомое многолетнее растение, без малого в рост человека. Посетителей никого, кроме них и еще двоих, немного поодаль, возле голубой решетки, по ту сторону круглого стола, слишком для них просторного; эти двое, французы, сидели рядом, один из них поставил на землю свой кожаный портфель, ног его видно не было, мешал стол; второй был в черных сапогах и потрепанных светло-коричневых брюках военного образца.

Но все это — лишь деталь пейзажа в самом низу картины. И то, как Лотта, серая, в белой манишке и нитяных чулках, украдкой поглядывала на двух парней, и то, как они тянули белое вино, делали вид, что тоже слегка заинтригованы, а сами в это время говорили совсем о другом. И то, как майор фон Лютвиц-Рандау, играя по дороге со здоровенной рыжей собакой, отправился на кухню, чтобы заказать две рюмки коньяку. Все — лишь мелкие детали у нижнего края большого французского пейзажа в глубине долины, где течет широкая дофинейская река, хмурая и серая даже летом, суровая из-за своих каменистых островков, крутых излучин, железных мостов. С этой стороны видна только чересполосица пастбищ и выжженных солнцем полей, картина предстает неполной, неверной; впереди, по ту сторону бесконечно широкого потока, долина штурмует горные кручи. И надо запрокинуть голову, чтобы увидеть зубчатую каменную кромку — неровный фестон на подоле неба, пробитые временем бойницы, выветрившиеся утесы, так похожие на высотные карьеры, на остром выступе скалы — башню, сквозь ажурную резьбу ее стен странным образом просвечивает пустое пространство. Тянущееся вдоль всего горизонта крутогорье — словно гигантская груда древних окаменелостей, так и кажется, что при случайной игре света камни вдруг обернутся скелетом допотопного животного, костями ископаемых чудовищ. Со времен Великого оледенения эти

голые склоны пережили множество стихийных бедствий, были свидетелями сражений Земли и Неба. Они помнят набеги и нашествия, видели, как спасались бегством мирные племена; по ним карабкались преследователи в погоне за преступниками и за невинными жертвами. Сколько раз по этим отрогам Альп спускались обозы чужеземцев, рослых белокожих людей с пиками и ножами?.. Какие песни навсегда умолкли в долине за долгие века? А ведь были и религиозные войны*, битва гор и равнин из-за расхождения взглядов на пречистую деву Марию; было и великое опьянение монтаньяров** гордым словом Свобода, когда там, у Гренобля, крестьяне и пастухи клялись на шпагах, скрещенных с пастушьими посохами, и эта клятва предшествовала всему, что было потом, всем битвам и всем клятвам Революции. Здесь, по выжженным добела скалам, прокатилось эхо призыва к восстанию против тирании, а потом здесь же перекликались дозорные: в городах темные силы коалиции готовились вернуть в рабство тех, кто ответил на зов монтаньяров.

Неохватный пейзаж, непостижимый, как сама история, а здесь, внизу, у правого края долины, за палисадниками,— этот ресторан с его живой изгородью вокруг каждого столика и вдоль всех дорожек, на одной из них подпрыгивает рыжая собака, она ловит кусочек сахара, брошенный рукой немца, и два приятеля притворяются, что их интересуют серые нитяные чулки какой-то женщины-мыши.

Косогор сзади все так же плавно поднимался к многоярусному плато через огороды, персиковые сады и темно-зеленые ограды. Там уже чувствовалась близость города, вернее, пригорода с его бензоколонками, загородными ресторанчиками, теперь закрытыми, чиханием и кашлем пыльных грузовиков. А дальше на запад начинались дома, они теснили парк, разбегались широкими улицами, образуя белые кварталы с серыми и красными

* Религиозные войны во Франции в 1562—1598 гг. между католиками и гугенотами.

** Монтаньяры — члены партии Горы, в период Великой французской революции — революционно-демократическое крыло Конвента, представлявшее якобинцев; занимало на заседаниях верхние скамьи (отсюда название).

крышами, новые районы, там сновал, часто гудя, голубой автобус, а магазины вперемежку с жилыми домами тянулись вплоть до самого универсама «Юнипри», где регулировщик заворачивал фургончики зеленщиков в объезд по улице с односторонним движением; там, наконец, было таинственное и загадочное сердце старого города, потного и грязного, там с визгом носилась чумазая ребятня. Тщетны усилия разгадать этот пейзаж, взгляд в нем бессильно теряется, с трудом различая только машины, которые мчатся вихрем, потому что их двигатели работают на бензине и потому что они возят офицеров в зеленых касках с коричневыми разводами. Тщательно обшаривая этот пестрый гобелен, глаз с усилием нащупает букву W, буквы K и Z, немецкие буквы, намалеванные на дощечках, прибитых где-то у подножья платанов или на углах домов. Глаз лишь угадывает, далеко-далеко, плывущие по небу клубочки дыма: где-то на краю света лежат маленькие деревушки, куда захватчик пока еще не дошел, и один господь бог знает, какие мысли там роятся, какой новый тайный союз пастушьего посоха и шпаги там зреет...

“Kätzchen!” — крикнула Лотта Мюллер, скорее в кокетливой попытке намекнуть двум шалопаям, чтобы они поспешили со своим заигрыванием, чем от нетерпения увидеть летящего к ней на всех парусах майора; играя с собакой, он уронил пенсне.

Один из французов, в бежевых брюках и кожаных сапогах, не переставая наблюдать за серой мышью, инструктировал второго, ему приходилось заглядывать в маленькую записную книжку, он слюнявил большой палец и перелистывал слипшиеся странички. Второй внимательно слушал и время от времени задавал вопросы. Портфель он поставил себе на колени, открыл и что-то там перекладывал.

Майор фон Лютвиц-Рандау уже шел назад, он сам нес мельхиоровый подносик с двумя крошечными стаканчиками, доньки были из толстого стекла, и коньяк казался золотистым. С крыльца ему вслед, подбоченьясь, смотрела служанка, удивляясь такому демократизму офицера. Немецкая речь и взрывы смеха Лотты преодолели пространство, усыпанное мелким гравием и утыканное столиками *en rondis*, и донеслись до слуха

двух мужчин, которые разговаривали между собой почти шепотом.

«Видишь?..— вдруг спросил один. Из приоткрытого портфеля сверкнуло дуло револьвера.— Ты ведь знаешь, я бью без промаха...»

Второй посмотрел на него и нахмурил брови.

Я не вполне уверен, что он действительно нахмурил брови,— ведь это была такая крошечная деталь огромного пейзажа с рекой и горами, с легендой и историей, с религиозными войнами и битвами за свободу.

«Спокойно, Филипп!»— сказал он, легонько топнув ногой по мелкому белому гравию.

И солнце блеснуло на черном голенище.

«Было бы два отличных труп, можешь не сомневаться...»

«Мы здесь не зтем, Филипп, сам знаешь. Нужна дисциплина. Так можно погубить все. Потерпи до другого раза».

«Жаль»,— вздохнул Филипп и закрыл портфель.

Подняв глаза, он посмотрел на развалины замков — там, высоко в горах,— словно уходил от соблазна, который представляла собой эта пара, резвящаяся на расстоянии выстрела от них, за рюмкой коньяку, весело гогоча, повизгивая от удовольствия и ничего не опасаясь: ведь глава корпорации крестьян объяснил им, что в глубине души их любят все французы.



Ах, как скучно в этом французском городишке!

Когда мы выходили из ресторана, Kätzchen уронил пенсне. Это его стиль! Но именно он первым и увидел Вилли. Kätzchen терпеть не может обер-лейтенанта, который давал мне читать книжки... ой!.. Я вспомнила фамилию автора! Людвиг... Людвиг-Фердинанд Целин!* Вилли был в штатском. Весьма элегантен. Где это он раздобыл такую английскую шерсть? Надо будет его спросить. Если здесь, я могла бы заказать себе костюм. Это, правда, не мой стиль, но в английских тканях все-таки есть свой шик. Kätzchen очень побледнел. Он боится гестапо.

* Луи-Фердинанд Селин (1894—1961)— французский писатель, активно сотрудничавший с фашистами.

Вилли посмотрел на нас своим особенным взглядом и спросил, что мы здесь делаем. А он что делает? Выслеживает террористов. Мы должны опасаться террористов, особенно в уединенных местах. Kätzchen в басню о террористах не поверил. Он сказал, что Вилли следит за ним, ясное дело. Местные жители не замышляют против нас ничего дурного. Так сказал доктор Гримм. В горах, может, и водятся террористы, они там прячутся. А здесь ничего такого нет. Я промолчала. В принципе Kätzchen совершенно прав. Вот только сюда Вилли пришел не по делам службы. Просто он увивается за мной. Мне так скучно, что я, возможно, и разрешу ему поухаживать. Лишь бы не пронюхал Kätzchen! Он способен раздуть из этого целую историю.

В конце концов он просто невыносим. В тот раз, на лекции доктора Гримма, не захотел, чтобы нас видели вместе. Из-за Труды, она кузина этого... Знал бы он, как мне наплевать на его Труды! Он уперся и не хочет сводить меня в «Золотой колокол», где бывают офицеры-летчики. Гильда — не самая из нас красивая — рассказала недавно, когда мы вместе мылись под душем, что ее пригласили однажды в «Золотой колокол», там были офицеры-летчики, и один из них подарил ей золотую брошку. Она мне показала. Брошка так себе. Но золото есть золото. Выглядит, правда, очень провинциально. Наверное, принадлежала жене какого-нибудь нотариуса. Не знаю, кому бы пришло в голову писать Труде, что я обедала с Kätzchen в «Золотом колоколе», но он и слышать не хочет о том, чтобы туда пойти. И зря. Кончится тем, что я разрешу Вилли за мной ухаживать. Его особенный взгляд очень меня интригует.

Как скучно в этом городишке! А если — раз в кои веки! — что-то и происходит, я об этом ничего не знаю! В понедельник утром казнили пятерых заложников. Я могла бы туда пойти и все увидеть!.. Устроила сцену майору. Вилли обещал, что в следующий раз он меня возьмет. Я не создана для такой жизни. Это совсем не мой стиль! Посмотреть только, как мы одеты, эти наши накрахмаленные блузки, прямые юбки, мужеподобный вид... Мой стиль — пышные оборки, накладные локоны, шуршащие юбки, кружева. По ночам мне снится, что я — как

эти киноактрисы, которые в доме у очень приличных людей вдруг задирают юбки и выбивают чечетку. И вокруг много, много мужчин. Или так: шелковое платье, высокая шляпка, в руке стек. Или еще: длинное платье, в танце оно взмывается, видны ноги (у меня ляжки чуть-чуть полноваты), мягкие сапожки, чулок нет. Но здесь во всем ужасно недостает музыки. Музыка, музыки, музыки! Может, Америка больше в моем стиле. Вырожденческий негроидный джаз. Ну и пусть! Жаль, наша армия туда еще не добралась. Нам прожужжали все уши про эту Францию. А она совершенно не в моем стиле. Все-таки, я надеюсь, война продлится достаточно долго, и наши ученые придумают, как перебросить нашу армию в Америку. А пока...

Если бы даже и был хоть какой-то уголок, где можно послушать музыку, Kätzchen все равно бы меня туда не повел: вдруг кто-то увидит... Для чего, спрашивается, нужен мужчина, не для того разве, чтобы держать вас за руку, когда вы слушаете музыку? Но нету места, где можно было бы послушать музыку в этой мертвой, мертвой стране.

Единственное развлечение — действительно трибунал. Недавно меня даже пробрало. Привели женщину. Жуткую. Совершенно вульгарную. Таких можно встретить на базаре, на бульваре... Средних лет. Kätzchen задает ей вопросы, а она не отвечает. Ее арестовали за саботаж, ну, эти дела с поездами при выезде из города... В конце концов Kätzchen рассердился. Тогда она разинула рот, чтобы мы увидели ее язык. Во время одного из допросов она отрезала его, чтобы ни о чем не проболтаться. Я удивилась, почему же она не умерла, ведь из раны на языке всегда вытекает очень много крови. Мне об этом рассказывал Буби. У них там, на восточном фронте, тоже была одна такая история. Но Вилли мне все объяснил: к этой женщине сразу позвали хирурга и велели лечить хорошенько, чтоб наказать, пусть-ка поживет с отрезанным языком... Kätzchen — вот болван! — приговорил ее к расстрелу.

А то еще: ночью поднялась пальба, какие-то машины забыли про комендантский час. Есть же идиоты... Они что, немцев не знают или им жизнь не мила?

Но все это музыки не прибавляет. А мне нужна музыка. Мне

мало приемника в «Метрополе». В Лионе хоть танцы бывают. Какая тоска! Kätzchen застал меня за разговором с Вилли и устроил сцену. У него теперь такой стиль. Я ему сказала: на этот раз Вилли со мной разговаривал... и только... Но если не поспешат разогнать мою скуку, я не поручусь, что... Kätzchen разгорячился, наговорил кучу гадостей, потом остыл и обещал, что мы совершим небольшую поездку в деревню. Погода прекрасная. Есть одно такое местечко... если ехать по направлению к... нет, вылетело из головы... говорят, пейзаж там вполне романтический. Час — полтора поездом.

Еще бы, ни Вилли, ни Труды там можно не опасаться. А пока мне бы очень не помешало хоть немного музыки...



Ах, вот как, фройляйн Лотта Мюллер, вам не помешало бы немного музыки... Вы, видно, глухая, фройляйн Лотта Мюллер, если не слышите, как много ее кругом. Бывают дни, когда она поднимается с земли и гуляет, как ветер, по городу и в поднебесье, когда хлопают двери, летят бумаги, вам приходится придерживать свои юбки... И вы говорите, что не слышите музыки? Бывает, правда, и так, что доносится лишь слабый отголосок песни, лишь вздох гитарной струны, лишь угасающий стон воспоминания... Под майским солнцем зазвучал весь огромный мирный пейзаж, распустились цветы, загудели насекомые; мухи — которых неодолимо тянет к человеческим существам так, словно это уже трупы, а не живые пока что люди, — успели прожужжать первые такты похоронного марша. В оркестровой яме еще только настраивают скрипки.

Вы, видно, глухая, фройляйн Лотта Мюллер, если не слышите нарастающей музыки. Бывают дни, когда она звучит сильнее, чем треньканье будней в маленьком городке, где вы так скучаете, фройляйн Лотта Мюллер... слушайте же, слушайте музыку!

Вот глухое *lamento**, скорбные звуки несутся из темниц, звучат неведомые музыкальные инструменты, когда-то звавшиеся

* Ламенто (итал.; буквально — жалоба, плач) — ария скорбного, жалобного характера, главным образом в опере XVII—XVIII вв.

людьми... Хруст раздробленных костей, треск лопающейся горелой кожи, жуткий концерт орудий пытки, крики душевной муки, такие несхожие с жалобами на муки физические, ба-систые ритмичные удары, бульканье брызжущей алой крови и слезы, слезы, слезы...

Вы не слышите музыки, фройляйн Лотта Мюллер? Так возьмите ж за руку своего поклонника и слушайте, как это принято делать в немецких городишках по воскресеньям; вы упиваетесь там игрою женского оркестра, сидя в пивной за большой узорчатой кружкой мюнхенского пива, темного и холодного.

А вот и ноктюрн, ноктюрн смятения: темные жилища, никто не осмелится раздуть тлеющие угли, люди прислушиваются к шагам патрулей на улице, вздрагивают при каждом скрипе лестницы или шорохе за дверью — идет полиция! Ноктюрн, в котором биение сердец звучит как слабо приглушенный аккомпанемент к тревожному ожиданию... Куда все идет? В какую песню выльется глухой ноктюрн? И почему она еще не зазвучала в полный голос? Тайное не выходит на свет. Ставни и рты закрыты наглухо. Улицы уютят солдаты.

О, неужели вы не слышите, неужели не слышите музыки?.. Хлопнули выстрелы, машины влетели на полном ходу в проулок против универмага, а там одностороннее движение... Ворота гаража взорваны, машины канули в ночь. В госпиталь явились неизвестные, потребовали выдать им раненого — он из заключенных, — уложили на месте обоих дежурных полицейских. Взорвано помещение STO*. Из центрального холодильника исчезли говяжьи туши, жандармы стерегли их для Господ Оккупантов. В двух километрах от вокзала стоял эшелон с боеприпасами, три вагона взорваны, всю ночь и весь следующий день снаряды сыпались на поля. Если кого-то преследует полиция, он исчезает в глубокой тайне домов. Те, кто прячет у себя повстанцев, не боятся расклеенных повсюду объявлений, устращений под бой барабанов, извещений в газетах, их не останавливают даже расстрелы заложников. Около часа ночи прилетели большие черные птицы, на заранее разведанные поляны

* STO — Service du travail obligatoire — служба отправки на принудительные работы в Германию.

посыпались пакеты и опустились люди под шелковыми зонтами — розовыми, зелеными, красными или белыми. Заря обнаружила, что на домах предателей нарисованы виселицы, а на перекрестках улиц написано такое, чего совершенно не имели в виду музыканты, когда сочиняли свою нежную, старинную немецкую музыку.

А вы не слышите музыки, мадемуазель Серая мышь, не слышите...

Один преподаватель лицея любил Германию больше, чем Францию, или, по крайней мере, так говорил, рассчитывая добиться невесты чего с помощью этих новых организаций, сокращенные названия которых фигурируют в витринах среди фотографий, запечатлевших прекрасную и счастливую жизнь французских рабочих где-нибудь в Дюссельдорфе или Штеттине, так вот, он, этот преподаватель, неосторожно приблизился однажды к «Трем звездочкам», где его узнали его бывшие ученики, по нему открыли огонь, но неудачно, и он улизнул. С тех пор он живет в гостинице «Центральная», итальянцев там больше нет, а у гестапо свои номера, и он отваживается появляться только в форме силезского полка, они не посмеют, думает он, стрелять в немца. Итак, все начинают понимать музыку. А вот владелец гаража — знаете, там, в предместье, возле бакалейной лавочки под голубой вывеской, — запирает он однажды вечером ворота своего гаража, а к нему подходит молодой человек и — бах! — из черного пистолета, пуля попала в глаз, выживет ли, неизвестно, а уж что ослепнет, это точно, и останется ненормальным — тоже факт. Перед зданиями, которые занимает полиция, установили рогатки, обмотанные колючей проволокой; часовые, им лет по шестнадцати, трясутся от страха и — ушки на макушке — ждут, чтобы первыми услышать музыку, музыку, музыку.

Продавец кроличьих шкур, рыжий человечек весь в синяках, катит свой велик и звонит, звонит, звонит... Идет это он по улице, ну, знаете, где дом свиданий, и вдруг — трах-тарарах! — загремела музыка, пепезфовцы* схватились со смутьянами, бой

* PPF — «французская народная партия» профашистской ориентации.

по полной форме, пепезфовцы — за каменную тумбу, а один, лежа на животе, все стреляет... И тут выходит хозяин борделя, почтенный такой дядечка, выходит, чтобы, значит, посмотреть, откуда переполох... пуля прямо в сердце! Разбили окно в аптеке, пролили из флакона синюю жидкость... Ну и дела! Звонит, звонит рыжий продавец...

Музыка, фройляйн Лотта Мюллер, еще только начинает звучать здесь, в этом городе, который набит зелеными и серыми солдатами, где кишмя кишат мыши в накрахмаленных блузках и нитяных чулках. Но в окрестностях она заполняет уже весь величественный пейзаж, неподвижный и немой, крутится, поднимаясь все выше, выше, уже выходит из берегов; музыка и внезапно поднявшийся ветер поздней весны разворошили деревню, оживили покинутые дома, на развалинах появились таинственные призраки, неведомо почему падают телеграфные столбы, то и дело рвутся железнодорожные рельсы, а на днях даже вывели из строя местный аэродром; ваши люди теперь не смеют ходить по крестьянским дворам в поисках мяса, за деревянными чурками для газогенератора и даже за нашими парнями, которых вы наметили к отправке в Германию, и они смеются над вами, эти парни, да, смеются... вашим людям страшно услышать музыку... вот именно, музыку.

Ничего, ничего... Это ведь только маленькая прелюдия, большой оркестр репетировал не здесь, но он соберется здесь в полном составе, и тогда грянет, грянет музыка!



Придется исполнить ее прихоть. Лотта решила, что нам надо побывать на лоне природы, а тут мне как раз порекомендовали маленькую гостиницу, очень подходящую для влюбленных, и мне ничего не оставалось, как сдаться. Адрес дал тот самый преподаватель математики, у которого были такие крупные неприятности: еще бы, он очень добрый и говорит все, что думает. Теперь ходит в нашей форме, ни за что не скажешь, что он надел ее совсем недавно.

Лотта нарочно дразнила меня этим обер-лейтенантом. Меня злит, что она зовет его Вилли. Не люблю таких глаз, как у него.

Ясно, он ей и рассказал эту историю. А она делала вид, будто кто-то другой. Кто же еще? Ведь именно Вилли вошел рано утром к этим евреям, когда они были дома одни, муж и жена, в ванной комнате, дверь на задвижке, и, не сказав ни слова, начал палить из револьвера в эту самую дверь.

Муж брился и, как был, с мыльной пеной на подбородке, в пижаме, вылез через окно на крышу и бежал, поймать его не удалось. И только Вилли, любимчик Лотты, мог описать во всех подробностях, как выглядела женщина, убитая в ванне. Больше некому. У этого обер-лейтенантишки легкая рука на евреях.

Мы решили уехать сразу после заседания трибунала. Заседание было совершенно ординарное. Два смертных приговора. Одно небольшое происшествие в связи с делом, которое я не очень-то понял. Когда привели и поставили передо мной этого человека, на которого было противно смотреть — лицо в кровоподтеках, на ногах еле держится, — я прочел его дело наспех, боялся, что мы опоздаем на поезд. Его арестовали за то, что он стрелял в мэра небольшой деревеньки, который проводил реквизицию. С какого бока это нас касается? Пускай французы разбираются между собой сами! Ведь это не наш человек... Мое внимание обратили на то, что подсудимый эльзасец. Это все меняло. Я спросил, почему он поднял руку на свою родину? Он ответил по-французски — по-французски! какая дерзость: «Моя родина — Франция...» Солдат, который стоял рядом, плюнул ему в лицо.

Из-за всего этого мы чуть не опоздали. На перроне я уронил пенсне, Лотта ворчала, что это мой стиль, вечно я его теряю, мы побежали к своему вагону, к счастью, я не упал: она тащила меня за руку. Сели в поезд, когда он уже тронулся. Эти маленькие железнодорожные ветки выглядят очень забавно, чисто по-французски, они такие убогие... В нашем купе первого класса — *nur für die Wehrmacht** — мы были одни. Иногда, на остановке, кто-нибудь открывал и тут же поспешно закрывал дверь. Мы взяли с собой курицу — заседание

* только для вермахта (нем.).

трибунала кончалось в двенадцать, а поезд уходил в двенадцать пятнадцать. Взяли овечьего сыра и фруктов. Словом, легкий завтрак. Лотта получила письмо от жениха, он на восточном фронте, воюет в составе европейских армий. Теперь она уже не говорила о Вилли, а надоедала мне со своим Буби. Было очень жарко. Первый по-настоящему знойный день. Я задремал. Лотта принялась перечитывать письмо. Просыпаясь от мысли — не проедем ли мы свою станцию?.. И велю Лотте быть внимательнее, станция называется... говорю название, но она не может повторить, пишу на клочке бумаги и снова засыпаю.

Не то чтобы я по-настоящему спал. Я размышлял над римским правом. Когда-то я даже преподавал его, но теперь думаю, что ради главенствующей роли германского права необходимо — и это мое глубокое убеждение — стереть все следы римского в современном мире. Римское право как основа государственных законодательств! Какой абсурд! К тому же противный самому духу германской нации. О кодексе Наполеона я уж и не говорю: одно то, что в нынешних немецких законах сохранились следы этого кодекса, показывает, чего они стоят. Фюрер совершенно прав, упразднение законов, как таковых, дает возможность учредить теперь, в подлинно германских условиях, Право, которое не нуждается в кодексе. Кодекса Гитлера не будет никогда! Мысль фюрера не поддается кодификации.

Было очень жарко. Я расстегнул воротничок. Нам не давали покоя мухи. Мы остановились на каком-то полустанке. Поезд все не трогался. Я спросил Лотту, уверена ли она, что мы не проехали. Не проехали, она следила по моей бумажке.

Шел, однако, четвертый час. Я забеспокоился. Поезд все еще стоял. Не пойти ли узнать, что случилось? Выхожу из вагона. Роняю пенсне, на этот раз сам его и поднимаю. Маленькая станция у подножья высоких гор. Что-то вроде деревушки на взгорье... Спрашиваю у станционного служащего. Он не понимает. Что-то говорит, но с таким акцентом, что я его тоже не понимаю. Увы, он говорит по-французски совсем не так, как доктор Гримм!..

Ну, хорошо, иду к начальнику вокзала. Он трижды просит повторить название станции. Смотрит мой билет. Ах, вот в чем дело! Мы сели не в тот поезд... Это другая ветка. Мы находимся в N. Нет, чтобы добраться куда надо, придется сначала вернуться назад. А отсюда поезд пойдет только завтра. Это конечная остановка. Впрочем, завтра по расписанию поезда нет. Только послезавтра. Последнее распоряжение оккупационных властей: движение поездов ограничено, поезда теперь отправляются по вторникам, четвергам и субботам.

Возвращаюсь к Лотте, объясняю. Она выходит из вагона. Все это ее абсолютно не трогает. Здесь тоже, конечно, есть гостиница. Да, но... Я договорился, что буду отсутствовать один день,— по средам трибунал не заседает. А получается, что и в четверг утром нас там не будет... Кроме того, в населенном пункте N. на прошлой неделе неизвестные совершили дерзкую вылазку... Здесь водятся террористы. Наши казнили семь заложников.

Она говорит, что я рассуждаю, как Вилли.

Я не хочу, чтобы заметили наше отсутствие? Ее это не касается. Ей плевать. Да, но мне... Спрошу у начальника станции, нельзя ли получить машину. Пусть позвонит по телефону...

У него румяные щеки, черные усы, покатые плечи. Форменная каскетка. Ничего толком Лотта от него не добилась. Вероятно, он был испуган. Она спрашивала, он отвечал «да», «нет». Я поинтересовался, не может ли он позвонить немецким властям. Немецким — нет. Французским — да. А они передадут немецким. Им надо объяснить,— вы меня поняли?— что майор фон Лютвиц-Рандау... Начальник станции просит, чтобы я написал свое имя на клочке бумаги, и с трудом разбирает мой почерк: фон Люте... Люте...виссе-Рандо... Правильно? Вы только скажите, пусть пришлют машину.

У него такой телефонный аппарат, с ручкой, которую надо крутить. Алло... Алло... На это ушло много времени. Он объяснил — я слышал,— что у него тут немецкий майор с дамой, своей секретаршей. Нельзя ли прислать за ними машину...

Выйдя из кабинета, он сказал:

«За вами приедут».

Лотта зевала. Было очень жарко. Одолевали мухи. А ждать не менее полутора часов. Поездка действительно не заладилась. Начальник станции был весьма учтив. Настоял, чтобы мы с Лоттой сидели у него в кабинете. На станции пусто, кроме нас, служащего и начальника станции — никого. Лотта откровенно скучала. Но что я мог поделаться?

«В следующий раз, — сказала она, — с нами поедет Вилли...»

Я предпочел смолчать.



«Фамилия: Лютвиц-Рандау. Военный судья в чине майора; член национал-социалистской партии...»

«Пусть говорит сам!» — вмешался высокий брюнет.

Когда партизаны прибыли на полустанок, они в два счета отобрали у майора револьвер, втолкнули в машину его и Серую мышь. Крепкие ребята, в кожаных куртках — результат удачного налета, этими куртками вуаронская фабрика снабжала чуть ли не весь департамент Дром. Партизаны были совсем не похожи на французов, какими их представляла себе Лотта. Темноволосый великан, который не открывал рта всю дорогу, показался ей интересным мужчиной. Был там еще совсем молоденький широкоплечий блондин и коренастый крепыш лет тридцати. Она испугалась, когда крепыш дал пинка майору: ошеломленный тем, что с ними случилось, Kätzchen вертел головой в надежде увидеть германскую армию, которая бросится к ним на выручку. Но тут же успокоилась: с ней они были почти вежливы. Лотта вспомнила эсэсовца, который спал с еврейкой, и сказала себе: «А почему бы и нет?»

Теперь они здесь, в пустом доме на склоне горы. А до этого неслись в черной машине с ведущими передними колесами полчаса — час, съехали с дороги, остановились, шли через поле. Было еще совсем светло, но свет стал уже вечерним, боковым, лучи солнца скользили по земле. Когда люди умолкали, слышалось громкое пение цикад. Действие происходило на открытой площадке — что-то вроде террасы, расположенной

над складским помещением; внешняя лестница спускалась прямо к гумну заброшенной фермы, там на шесте висел кусок трехцветной материи. Кругом — открытая местность без деревьев, желтая земля, чахлый вереск и в полукилометре — зигзаги горной дороги, похожие на лежащую букву «W».

Командир макизаров, круглоголовый великан с маленьким детским ртом над тяжелым подбородком, весил, должно быть, не менее двухсот двадцати фунтов и походил на камаргского табунщика. В действительности же он преподавал латынь и греческий где-то в окрестностях Сен-Флура. Сидя во главе стола, он руководил допросом. Слева от него, скрестив руки, стоял высокий брюнет, тот, что приезжал на станцию и так понравился Лотте. Справа сидел священник в сутане нараспашку, охотничьих рейтузах и с винтовкой на ремне. Лотту держали внутри дома. Несколько раз оттуда слышался ее нервный смех.

«Я вступил в наш партий,— майор фон Лютвиц-Рандау старательно подбирал французские слова,— в июле тридцать третьего, сразу после тридцатого июня...»

«Вас на это вдохновило убийство Рёма?» — усмехнулся тот, кто вел допрос.

«Жан-Пьер, пусть он говорит сам!» — укоризненно заметил брюнет.

Майор обвел взглядом всех троих, как оглядывает поле боя солдат. Укрепил на носу пенсне и глубоко вздохнул.

«Я вступил в партий сразу после казни Рёма и его сообщников,— стараясь выиграть время, майор тянул слова,— я сразу понял, теперь нужны юристы, в свете этих исторических событий нужно... *wie sagt man?** — полностью пересмотреть, *wiederaufbauen...*** создать заново германское право».

Священник, худой, с большим носом и узловатыми руками, иронически присвистнул и принялся чистить ногти прутником, который еще раньше тщательно заточил у них на глазах. Пленный повернулся к нему:

* как это говорится? (нем.)

** построить заново (нем.).

«Может быть, это не имеет значения для террористов... но Право есть Право...»

«А кто здесь террористы?— Жан-Пьер гордо вскинул голову, и, казалось, его серо-голубые глаза, как пули, вылетят сейчас из орбит.— Я капитан французской армии и...»

«Дай ты ему говорить»,— снова вмешался высокий брюнет.

«Извините,— сказал майор,— но для нас вы террористы, вопреки законам войны и условиям перемирия, вы...»

«Для вас? Кого это — вас? Какое перемирие? Мы воюем против Германии с сентября тридцать девятого. Законы войны... с каких это пор существуют законы войны, по которым можно расстреливать заложников? Это вы нарушаете законы войны, это вы, вы террористы, и именно в этом качестве вас будут судить здесь, по всем правилам...»

«Дай же ему сказать»,— повторил высокий брюнет.

«Извините,— продолжал майор,— но нам всегда говорили, что вы террористы...»

«И вы этому, конечно, верите, как верите всему, что вам говорят... Какие же террористы в таком случае подожгли ваш рейхстаг?»

«Коммунисты,— сердито ответил Лютвиц-Рандау,— Ван дер Люббе, Димитров...»

На этот раз его прервал высокий брюнет:

«Димитров! За кого вы нас принимаете, господин майор? Теперь вы обвиняете человека, которого признал невиновным ваш суд, которого оправдал ваш суд...»

«В то время,— сказал Лютвиц-Рандау,— наши суды были еще заражены духом римского права, кодекса Наполеона, еврейских законов... Сегодня мы бы не выпустили Димитрова, он был бы осужден... в соответствии с германским правом».

Это было странное зрелище. Аббат, управившись, наконец, с десятым пальцем, тут же принялся снова за девятый, восьмой... Не сводя глаз со своего прутика, он спросил:

«Почему вы хотите, майор, чтобы мы признали ваше германское право, если вы считаете кодекс Наполеона сводом еврейских законов? Но дело даже не в этом. Сколько людей вы уничтожили в соответствии с вашим германским правом?»

Лютвиц-Рандау отвернулся и ничего не ответил. Из дома доносился голос Лотты, но слов разобрать было нельзя. Ее допрашивали отдельно. И майор подумал, что она способна оговорить его ради того, чтобы выкрутиться самой.

«Я никого не убивал...— после паузы решительно возразил он.— Я служащий суда, в обязанности которого входит применять законы...»

«Какие законы?— вспыхнул Жан-Пьер.— Ваш фюрер упразднил все законы...»

«Наш фюрер,— сказал обвиняемый,— признает один закон — интересы Германии...»

«Маршал фон Паулюс,— перебил его брюнет,— придерживается другого мнения».

«Фельдмаршал фон Паулюс мертв. Наш фюрер сказал, что фельдмаршал фон Паулюс мертв...»

Аббат бросил свой прут и захохотал:

«Мертв по германским законам, да? А те, кто утверждает обратное,— террористы? Не так ли?»

Майор с растущей тревогой прислушивался к звукам, идущим из дома. Сначала яростная перепалка, потом хныканье, а теперь Лотта говорила, говорила, говорила... Что же такого она могла им наговорить? Между майором и его судьями зияла пропасть — они не понимали друг друга. Он считал, что послушание и верность своему фюреру служат оправданием всех его поступков, как статья кодекса, гласящая, что он неподсуден. Они же, напротив, видели в этой рабской зависимости, в этой пассивности отягчающее вину обстоятельство, прямое доказательство виновности. Они, в сущности, давали ему шанс, позволяя сказать, что все-все, что можно поставить в вину не только майору фон Как-Его-Там, но и немцам вообще, всем немцам,— это именно фюрер и, как он говорит, «наш партий», они ответственны за все преступления, за расстрел заложников... Конечно, его судьи поступали не по-судейски великодушно, ему было бы так легко спастись с помощью лжи, пойми он только, что к чему. Обман его не смущал. Коль скоро речь шла о собственных интересах, то есть о том, что он называл интересами германской нации. Ложь была неотде-

лима от системы. На свою беду, Лютвиц-Рандау не догадался, что именно надо солгать. Оказался жертвой собственной системы защиты. А он строил ее, упирая на величие, на верность идее национал-социализма. Не сумел понять, что, отрекись он от национал-социализма, его шкура осталась бы цела. Шкура, которой майор так дорожил. Ему казалось, что его губит глухо доносившаяся болтовня женщины, на самом деле он сам, его собственные слова обрекали его на гибель. Его правовая концепция, система защиты, которую он готовился применить в тяжелые времена, чтобы помочь Германии в тяжелые времена. Поэтому-то обер-лейтенант Вилли, гестаповец Вилли, и считал его пораженцем. Система защиты, благодаря которой поверженная Германия держалась бы с достоинством, импонирующим победителю, с достоинством бойца, который не сдается. И прочее и прочее.

Сейчас только Лютвиц-Рандау, он один, попал в скверную ситуацию, проверяя систему на себе. Но там, в доме, была эта Лотта... И тревога мешала ему сосредоточиться, отнимала уверенность, он давал путанные объяснения, запинаясь, подолгу молчал. Все это смешило аббата.



«Неизлечим», — сказал Жан-Пьер.

«Неизлечим», — сказал аббат.

И высокий брюнет, расцепив скрещенные на груди руки, подтвердил:

«Неизлечим».

Лютвиц-Рандау вздрогнул. Это ему кое-что напомнило. В третьем рейхе, когда врачи качали вот так головой и дружно объявляли больного неизлечимым, некоторое время спустя семья получала урночку с письмом, где говорилось, что уведомить своевременно не удалось и что дорогой больной представился... И теперь он очень боялся, не означает ли это, что ему грозит эвтаназия.

Его заперли в маленькой комнате без окон, на полу охапка соломы, дверь с окошечком в форме бубнового туза, сквозь него видно небо, очень спокойное, очень желтое.

Майору казалось совершенно диким, как легко задержали его террористы, привезли сюда, допросили, и никто им не помешал, никто не поднял тревоги. Где же тогда, спрашивается, полиция, где жандармерия? Не говоря уж об армии. Он часто слышал о бандитах, которые скрываются в горах. Он видел этих бесноватых на заседаниях трибунала. Многих приговорил к смертной казни. Но никогда не представлял себе, что в повседневности они живут вот так, совершенно свободно. Что им принадлежит пространство, огромные просторы страны. Теперь стало, наконец, ясно, что вермахт держит в своих руках только пути и линии сообщения, только стратегические опорные пункты. Но чуть в сторону от них земля целиком принадлежит этим людям, им принадлежит страна. Они выставили у дороги часового. Не прятались. По крайней мере не производили впечатление людей, которые прячутся. У них были машины, горючее. Горючее... Невероятно!

Он ждал Лотту, ждал, что ее посадят в ту же камеру. Но Лотту так и не привели. Спустилась ночь, на улице слышались голоса. Там собралось человек десять. Они ужинали на открытом воздухе. Под конец молодой голос спел провансальскую песню. Усердно стрекотали цикады. Ласково квакали лягушки. Потом, сквозь бубновый туз, замигали звезды. На улице встали, задвигались. Что они сделали с Лоттой? Он ни разу не подумал о ней с нежностью. Женщина как женщина, если смотреть на нее без пенсне. Струйка дыма. Но хоть она тоже состояла в партии, он не был убежден в ее верности. В ее лояльности. Совершенно не убежден. Если она решила, что его песенка спета, а она еще может выкрутиться... Если будет только намек на это... Дверь распахнулась, высокий брюнет крикнул: «Эй, там, выходите!», он поправил пенсне, нагнулся, чтобы не стукнуться о притолоку макушкой, там, где редкие волосы прикрывали наметившуюся лысину, и спросил:

«Не могу ли я узнать... Моя секретарша... что с ней стало?»

Он невольно заговорил тоном, каким обычно осведомляют в больничном коридоре о состоянии больного, который лежит в это время на операции. Высокий брюнет смутно

уловил фальшивую ноту и пожал плечами:

«Ваша секретарша... В жизни не видел, чтобы кто-нибудь так легко раскалывался».

«Раскалывался?!»

«Ну да, распускал язык. У нее даже не надо просить сведений, она ими сыплет сама. Твоя крошка из кожи вон лезет, чтобы нам понравиться. Пришлось связать ей руки, уж очень бесстыдно она заигрывала с моими людьми. А я этого не люблю. И аббат не любит».

Майор повторял про себя: раскалываться, распускать язык... Нет, таких слов он не знает. Его подтолкнули к месту, довольно театрально освещенному снизу смоляными факелами, которые отбрасывали зловещий свет на макизаров. Все были в сборе. И все стояли. Майору стало страшно. Чтобы преодолеть испуг, он заговорил:

«Лотта, моя секретарша... она все еще там?»

Он надеялся расположить к себе высокого брюнета, ведь он боится не за себя, а за Лотту... Тот ответил:

«Выкинь ты это из головы... Сейчас она дрыхнет... Вот сучка так сучка!.. Да все ваши бабенки... Я знаю... Я был в плену под...»

Майор не расслышал, где именно тот был в плену. Заискивая перед макизаром, он с лицемерным участием спросил:

«Где вы были?»

«Бреслау... Сучки... Все ваши бабы — сучки!»

Суд начался.

Жан-Пьер любил торжественность. Он хотел поразить воображение товарищей. И удовлетворить их чувство справедливости. Было зачитано обвинительное заключение. Дали слово Лотте. Она рассказала о смертных приговорах накануне утром: задержали двух безоружных парней, но у одного из них нашли лотарингский крест*. Про женщину с отрезанным

* Лотарингский крест — символ возглавлявшегося де Голлем движения «Свободная Франция» (с 1942 г. — «Сражающаяся Франция»), которое играло важную роль в антигитлеровском движении Сопротивления на территории Франции.

языком. Про коммунистов-железнодорожников, которые собирали сведения о воинских перевозках. И еще. И еще. Лютович-Рандау не помнил, чтобы он отправил на тот свет столько мужчин, и женщин, и ну, тех, других... Вот память! Но зачем все это говорить? Он слушал и покрывался холодным потом, как бывает по ночам.

«Итак, обвиняемый,— сказал Жан-Пьер,— вы слышали? Что вы можете сказать в свою защиту?»

Разглядеть пепельно-серое лицо с морщинками у глаз было невозможно. Хотя блики факелов и вспыхивали в стеклах пенсне. Майор был застигнут врасплох. Такого он себе не представлял. Его защита. Защита Германии... Старая фраза, которая ему, которая им всем хорошо послужила в 1940—1941-м, только она, как отрыжка, оказалась у него на языке:

«Wir sind doch keine Barbaren...»

Присутствующие молчали. Раздался лишь знакомый отрывистый смех, это смеялся аббат. Снова заговорил Жан-Пьер:

«И вы еще смеете говорить, что немцы не варвары? После всего, что мы видели, после всего, что вы сделали? После всех страданий, которые вы нам принесли, а теперь отрицаете? И вы воображаете, что мы позволим вам умереть так, как умирают наши, которых вы расстреливаете. Умереть по-солдатски, оправдываясь этой коротенькой фразой: «Не варвары же мы, в конце концов!» Это было бы слишком просто, слишком уж ловко. Прежде, чем умереть, майор, вам придется увидеть, придется признать...»

Майор перевел дух: его, значит, убьют не сразу, не сейчас. На лице его мелькнуло подобие улыбки, но при свете факелов она осталась незамеченной. Хотя ему и не удалось нащупать юридически правильный метод защиты, все же, пусть по ошибке, он дал ход спасительной процедуре проволоочки... Ну, а Лотта и правда сука.



Черный лимузин, не включая фар, ринулся в ночь, по стволу автомата скользнул луч луны. Голый пейзаж качнулся, сорвался с места, понесся длинной прямой дорогой, потом дорога

пошла под уклон, зигзагами, и стала серебряной. Редкие деревья. Постройки. Снова пустыня: камни, низкая трава; подъем; не снижая скорости, машина несется выше, выше. Майору жутко от этой бешеной гонки в ночи. Но чего ему, собственно, бояться? Аварии? Заслышав рев мотора, люди в окрестных домах говорят друг другу: «А-а-а, это макизары...» Они мчатся так каждую ночь. Каждую ночь Жан-Пьер, и аббат, и этот третий, высокий брюнет, испытывают пьянящее чувство больших скоростей на земле, которая принадлежит им, и только им.

В машине все четверо: на заднем сиденье майор, зажатый между аббатом и Жан-Пьером, впереди, рядом с шофером, — высокий брюнет с автоматом. Шофер не из этих мест, из совсем других, он баск. Великолепные белые зубы, шелковая моряцкая рубашка с облегающими рукавами, на запястье пластинка, где выгравировано его имя, она подобна браслету из чистого серебра. Атлет, игрок в баскский теннис... он делает виражи, будто поднимает срезанный мяч...

Куда они едут? Пляшут гребни гор, все новых и новых, можно подумать, они, как голуби, вылетают из шляпы фокусника. Свет луны особенно ярк потому, что все смертельно опасно. Куда, куда они едут? В машине молчанье, его покрывает грохот мотора: машина без глушителя. Похоже, эти люди ничего не боятся.

Луна, камни, луна, мельканье черных хребтов, поворот — и они уже белые, пейзаж обратился в негатив. Луна, луна... Голос Жан-Пьера, поначалу тихий... майор не успевал схватывать смысл... потом голос окреп, зазвучал громче, загремел камнепадом незнакомых слов... майор знал не все французские слова, его не научили понимать язык, на котором изъясняются преподаватели латыни и греческого, а не доктор Гримм... нет, не доктор Гримм.

Капитан Жан-Пьер говорит о неведомом майору мире, мире целого народа, который борется, ни женщин, ни детей не пугает там страх смерти, а мужчины, оторванные от родного очага, появляются дома лишь в грозный час тревоги; чем скромнее жилище, тем безграничнее отвага. Он говорит о неведомом мире страданий и лишений, о молчаливой усталости, ежедневных сигналах тревоги вместо хлеба насущного, об утренней

газете, которую раскрывают с дрожью: что там на ее страницах? Слежка со всех сторон, доносы, но и безмолвный энтузиазм, особый свет в глазах незнакомых людей... товарищи... один — из края, где растет хмель, он и знать не знал, как выглядит ущелье... или сахарная голова... а другой в прошлом знал только дым и гудки заводов, он — из черного от копоти города... этот — из богатой семьи, самому сварить яйцо для него в диковинку... тот — воевал в Испании в составе легендарных бригад... есть даже немец, да, да, немец, которого они пытали, твои, в кошмарном аду Дахау, били, сдирали кожу, но он спасся... немец, который с болью говорит о Германии... о другой Германии... слышите, майор фон Лютвиц, о другой...

«Приехали», — сказал высокий брюнет.

Заключительный аккорд.

Под дулом револьвера майор фон Лютвиц-Рандау выбирается из машины. Его прогуливают. Он в театре. Ему показывают декорации. Деревня на склоне горы, дорога здесь расширяется и образует неровную площадь; почти на середине ее каменный водоем, густо поросший мхом, бьет родник, поет вода. Светло и пусто, хотя дома начинаются прямо отсюда. Поначалу кажется, в них нет ничего странного, в этих домах. Словно бы они настоящие... Фасады, даже кровли... почти кровли. Ну, давай! Вперед! И вдруг это уже не дома: это кружево, сквозь рваную плоскость фасадов струится лунный свет, за ними нет ничего... ничего; нет, не так, за ними груды обломков, обвалившиеся балки, ржавое железо, хаос сместившихся этажей, глубокие ямы, перепаханная земля. Скрипит разбитая оконная рама, чудом не слетевшая с петель. Они прошли всю площадь, — иди, иди, живо! — противоположный край залит лунным светом. И черные провалы без дна... наплывает улица: узкая, длинная, ни одного целого дома...

«Здесь было восемьсот жителей, — говорит аббат. — Воздушный налет. Самолеты. Нет, нет, не американские, милейший. Твои. Невесть почему. В воскресный вечер. Все были дома. Кроме тех, кто играл на площади в шары. Они летели так низко, ну так низко, что летчики не могли не видеть, надо было быть уж вовсе близорукими. После того как твои самолеты

ты разрушили тут все или почти все, прошло три месяца, здешние мужчины, вдовы, дети — некоторые без руки или ноги, — как муравьи, собирали тут обломки кровати, там обрывки обоев, расчистили под дождем завалы в разверстых домах, восстановили кровли, залатали окна... Жизнь понемногу налаживалась. Тогда они явились снова, на этот раз по земле. Подошли с двух сторон, зажали, окружили этот жалкий, увечный поселок, не выбрался никто... и подожгли — смотри, немецкий страж закона, видишь черные подпалины на разрушенных стенах... следы огня... Вот в этом доме женщина бросилась в огонь сама, она не согласилась на то, что от нее требовали... Это было в сорок втором... В сентябре прошлого, там, в горах, расстреляли трех подростков...»

«Война... грустная вещь — война», — сказал майор.

И снова смехок аббата. Станный аббат, из-под сутаны поблескивает ствол винтовки. Теперь майор видит на груди у него большой крест из голубовато-серой стали.

Вернулись в машину, а родник все пел и пел своим чистым прохладным голосом. Лимузин вздрогнул и ринулся в плотную тьму.

Опять дороги, опять луна. Черные деревья. Клочки леса. Шалаши дровосеков. Бревна лежат как попало, словно спички, выпавшие из коробка. Поля. Дома. Апокалипсический вой мотора. Сумасшедшая гонка. Голос Жан-Пьера. Редкие остановки. Еще одна деревня, развалины, вспоротые, продавленные дома, дома, разрушенные до основания, обширные пространства выжженной земли... Здесь обитали люди, здесь не было фронта, и всего-то прошла орда, — слышишь? — орда. Девушек изнасиловали, одному раненому выбили глаза так, что они вывалились на щеки. Вот сюда. Аббат подошел к майору и ткнул пальцем ему в лицо. Тут как раз и висело глазное яблоко... Еще деревня... Но где же она? Ищи, ищи хорошенько! Тебе придется посетить и школу. У нее все те же двери, но это единственное, что от нее осталось. И еще — трудно поверить! — черная доска на подставке, маленькие ручонки писали на ней мелом. Вон там, видишь? А что пишет на ней для господина фон Лютвица своими меловыми лучами луна? Майор вздыхает:

«Да, война...»

Саркастический смешок аббата.

Его привезли в этот горный район, где дома никогда не сбиваются в поселок, они возникают внезапно то слева, то справа от дороги на склонах, каждые три-четыре километра. Не уцелел ни один. Ни один! Все предали огню и мечу.

«Ты воспитывался в протестантской семье?» — спросил аббат.

Майор утвердительно кивнул.

«И это ничего тебе не напоминает?»

«Напоминает».

Из глубины памяти всплыли строки Библии. Майор пожал плечами и грустным тоном сказал:

«Страшное дело — война...»

Мрачная гонка продолжается. Значит, они намерены возить его так до утра и не будет конца ужасам, разрушениям и опустошениям всю ночь? Да, всю ночь. Они проезжают маленький городок, патрули кричат вслед. «Жандармерия!» — бросает водитель. Они несутся как ветер. Выстрелам их не догнать. Рывок в сторону от горной дороги, машина делает крюк по проселочной, еще поворот, еще... Луна спустилась теперь к горизонту. В кратерах мрака они едут по местам кровавой резни; гневно звучит голос Жан-Пьера — стремительный, чуть напевный, он говорит не умолкая, его речь насыщена красками, он называет вещи своими именами, без обиняков, говорит так, что чудятся хрипы умирающих. Но это всего лишь эхо машины в развалинах мертвых жилищ. Фон Лютвиц устал бормотать свое нескончаемое «да, война»... Жан-Пьер рассказывает:

«А когда мне пришлось уехать, полицейские приходили к моей жене, не давали ей житья, и тогда однажды вечером она домой не вернулась... уехала к моей матери в большой город, километров за триста отсюда... Разве она могла не сотрудничать с подпольщиками? Ведь я был в маки, и все, все наши друзья делали что-нибудь... Я-то ее понимаю, мою Марию... Беда в том... эх, был бы я с ней... При одном слове «Франция» глаза у нее наполнялись слезами... ничего не стоило догадаться... такая доверчивая... Было много неосторожных людей, и

потом, никогда в жизни они бы не отказались выполнить поручение, даже опасное. Это считалось позором... поэтому Мария... Я так и вижу свою мать, за километр слышно, как она бранит Марию, бранит, но помогает... А как же иначе? И еще, долгое время многим везло, все сходило с рук. Говорят, это соседи... может, никакие не соседи... только взяли всех у мамы... всех... Маме было семьдесят, когда она умерла, в поезде, от удушья... Мария... говорят, она в Германии... От нее ни строчки...»

Фон Лютвиц почувствовал — необходимо что-то сказать:

«Ваша мать... если бы она была еврейкой, тогда понятно, но не ведь...»

Смешок аббата. Каждый раз он смеялся некстати. Машина остановилась во дворе фермы. Не настолько темно, чтобы не увидеть — ферма большая, заброшенная. Высокий сарай для фуража, гораздо выше жилых построек, которые замыкают угол двора. В противоположном конце — настесь распахнутые конюшни, можно разглядеть пустые водопойные колоды. Стены, крыши — все цело. Трое макизаров подтолкнули пленного к большой деревянной двери. Он сказал себе: «Вот оно... здесь, почему-то именно здесь они меня и убьют...» — он снял пенсне, чтобы не так отчетливо видеть, как это будет...

«А ну,— сказал Жан-Пьер,— потрогай створку, вон там... Сейчас ты не увидишь, но днем еще заметно, большое пятно... На этой ферме жила семья одного из наших... их было трое братьев... старший погиб в Сирии... да... вместе с петеновцами... он не разобрался, хотя ему и говорили... Но двое других... младший был совсем еще мал, средний, ну, словом, воевал в моей группе, что я тебе буду объяснять!.. Месяц назад они явились, сказали, что, если не получают его, заберут отца... отцу удалось бежать... Тогда они пришли еще раз. На глазах у матери,— слышишь?!— на глазах у матери схватили младшенького, и на этой двери — потрогай дверь, немецкий судья, потрогай, тебе говорят!— они его приколотили гвоздями, как сову*...»

* У французских крестьян есть поверье, что сова приносит несчастье; ее убивают и приколачивают к дверям дома, чтобы отпугивать других сов.

«Не может этого быть,— запротестовал майор,— вас обманули... Или уж молодой человек совершил какое-то страшное преступление...»

Опять смех аббата. Ледящий душу, почти безумный. А так как фон Лютвиц вновь водрузил на нос пенсне, он совершенно ясно увидел, тот тоже трогает пальцами дверь... И священник сказал:

«Какое преступление, господин хороший, какое? Молодому человеку было шесть лет... и я своими руками снял его с этой двери... Бернар... ему было шесть лет...»

Он больше не смеялся. Он плакал. Винтовка ходуном ходила на вздрагивающей спине. Высокий брюнет очень тихо сказал:

«Это был его брат...»

Пленный похолодел от ужаса и прохрипел:

«Убейте меня сразу...»

Но Жан-Пьер его оборвал:

«Чтобы, подыхая, ты думал, будто мы убили тебя из мести? Ну уж нет!»

И снова черный лимузин полетел в ночь, теперь совсем уже черную. Между ними упало безмолвие. В каком-то месте сбились с дороги, шофер остановил машину, стали советоваться. При свете фонаря для подачи сигналов самолетам высокий брюнет и Жан-Пьер изучали разложенную на откосе карту. Шофер хлопал себя по плечам, чтобы размять онемевшие пальцы. Аббат непрерывно курил. Глядя на огонек его сигареты, фон Лютвиц неотступно думал о пламени смертельного выстрела. Смотрел на винтовку, которая висела на ремне у священника. Когда машина остановилась, он снова подумал — его час пробил. Он боялся пыток. Француза, который попал бы в руки к немцам после такой истории с ребенком, пытали бы безусловно... Майор вообще не видел для себя спасения, а то бы он тут же предал своих. Не догадался, вот и все. Машина еще раз тронулась в путь.

Они приехали, когда забрезжила заря.

«Что же еще они хотят мне показать?» — спросил себя пленный, обессиленный от этой ночи. По небу плыли легкие рваные

облачка, солнце еще не вставало, но по какой-то странности восприятия майору казалось, что там, где светлеет горизонт, находится запад: у него было чувство, какое бывает у человека, проснувшегося утром не на своем обычном месте, а в чужой комнате, где кровать расположена иначе, чем он привык. Здесь были живые существа. Пропел петух. Над крышей — метров триста от них — поднимался дым. Двускатная возвышенность: один склон падал в покрытую туманом долину, где цепочки деревьев отгораживали земельные участки, а дальше виднелся лес, деревушка же приютилась слева от дороги, в ней часовня без колокола, сплошь увитая плющом. Низкие домики в предутренней прохладе зябко жались друг к другу, там, вероятно, все еще спали.

На этот раз первым заговорил высокий брюнет: «Здесь ты можешь снять свою пилотку, майор. Знаешь, что это за место?»

Молчание было невыносимым, фон Лютвиц через силу выдал: «Нет...»

«Ну, что ж... видишь эту стену? Ничего в ней такого нет. Задняя стена риги. Верно?»

Ничего особенного в ней не было. Задняя стена риги.

«Здесь... Их было семеро. Семеро, и они не знали друг друга. Деревенская женщина с полуторагодовалым ребенком на руках. Что она им сделала? Трое парней, которых привели вон оттуда, снизу. Неизвестный, о котором никто ничего не узнал. И врач. Да, и врач... Настанет день, когда люди придут сюда, чтобы увидеть место, где он умер. Здесь будет памятник из мрамора или бронзы. И люди придут, чтобы увидеть... Знаешь, я не верю ни в бога, ни в черта. Но если все же бог есть, пусть даже доктор не верил, все равно он стал бы святым».

«Может,— сказал аббат,— когда-нибудь его и причислят к лику святых».

«Так вот,— продолжал высокий брюнет,— обойди всю округу, спроси любого. И тебе скажут. Нет никого, кто не был бы ему хоть чем-то обязан. Ни один ребенок не появился на свет, ни один старик не умер без того, чтобы доктор не поднялся среди сна, в ночь-полночь, не поспешил к нему зимой, по снегу, в любую погоду. Он исходил вдоль и поперек весь край, за два-

дцать-то лет! Не зная отдыха. Появлялся везде, где был нужен... Знал всех. Потом началась война. Движение Сопротивления, маки. Врач никогда никому не отказывал. В Н. немцев не было. Но был там владелец гостиницы — дориотист*, и был мебельный фабрикант... Словом, немцы пронюхали. Они явились в Н. Похватали многих. Доктор сам открыл двери, когда за ним пришли. Его били, били на глазах у жены. «Мне нечего вам сказать». Его били всю ночь. Утром, примерно в такое же время, на рассвете, его привели сюда. И троих парней оттуда же, снизу, первых, кто попался им в руки. Несчастную с малышом на руках. И того, про которого так никто и не узнал, откуда он... Привели и поставили к этой стене. В которой нет ничего особенного. Задняя стена риги...

Стена, в которой нет ничего особенного, задняя стена риги. Господин фон Лютвиц снял пенсне, чтобы не видеть. Еще и потому, что у него мелькнула слабая надежда: жест произведет на них впечатление, не может не импонировать; до него, наконец, дошло, что если бы ему дали время, он мог бы сослужить службу этим французам и снабдить их кое-какими сведениями, неизвестными Лотте... Он выжал из себя только: «Стреляйте скорей!..» Страх заглушил все. Страх перед пытками. И смертный страх человека. Он больше не думал о Германии и, задыхаясь, повторял:

«Стреляйте скорей».

Но аббат засмеялся своим зловещим смехом, а капитан французской армии Жан-Пьер сказал:

«На земле, где пролита кровь наших героев? Нет!..»

Они оттащили его метров на сто в сторону и на обочине дороги, как собаку, пристрелили.

Примечание 1964 года

Автору тяжело теперь перечитывать эту новеллу, которую он написал в гневе тех лет, когда факты звучали громче, чем голос рассудка. Персонажи живут и говорят в ней так, как жили и

* Дориотист — член профашистской «французской народной партии». Ее основатель — Жак Дорио (1898—1945).

говорили когда-то. Солдаты своего отечества, были ли они правы в каждом произнесенном тогда слове? Это было невозможно, и трудно даже представить, чтобы все эти люди, носившие оружие, не были заодно с теми, чьи приказы они исполняли. Но не следует забывать и другое. Вызывая в памяти слова Манусяна*, расстрелянного вместе с теми, кто оказался в «Красной афише», автор в своем стихотворении писал: «Я умираю, но ненависти к немецкому народу в моем сердце нет». Однако, воздавая справедливость одному народу, мы не вправе забывать страдания другого.

Так пусть же все венчает высокий образ края**, непостижимо ни для кого, кроме его сынов, края, каким «в сути своей, наконец»***, запечатлел его Поль Сезанн.

* Мисак Манусян — командир интернациональной группы бойцов — участников французского Сопротивления. Казнены нацистами в 1944 году. Извещение о казни, как и аналогичные, получило название «Красной афиши».

** Речь идет о Провансе.

*** Из стихотворения С. Малларме «Гробница Эдгара По».

Молодые люди

Ничто в этой жизни не бывает точно таким, каким мы себе представляем. Не знаю, правда ли, что бог располагает, когда человек предполагает. От всей души хотел бы поверить этому и успокоить себя. Но тогда как же странно он располагает...

Они родились почти в одно время — Ги и Элизе, когда уже наступил мир, а старшему, Марселю, в 1918-м еще не было и четырех лет. Они трое не были братьями, казалось, ничто не могло бы связать их судьбу. Трудно даже представить себе, что между ними вообще могла возникнуть какая-либо связь. Не было для этого никакого повода в ту пору, когда в мире царил порядок, когда на Севере Ги играл под красивым полированным столом возле матери в глубине просторного дома, с чехлами на мебели в гостиной и большим Христом над роялем с ножками на стеклянных подставках... когда Элизе, запоздалый ребенок мелкого чиновника в отставке из департамента Дром, пас коз и с соседней фермы выбегала разъяренная женщина, потому что козы в который раз забредали на ее поле... а Марсель в двенадцать лет уже ходил с обожженными кислотой руками, работая на фабрике, отравлявшей воздух всего Итальянского квартала зловонием разлагающихся кож, на старой деревянной фабрике, из-под которой текли разноцветные ручьи...

Нет, ничто не способствовало даже их встрече. У них не было общего языка. Ни в то время, ни позже. Так было, пока мир катился своей дорогой, пока дни бежали обычной чередой, приглашенные на один лад, пока все были на своих местах и каждый оборот машины приводил в то же время, в те же места тех же человечков, как в старинных затейливых часах: на заре

появлялся крестьянин, в полдень — красивая дама, а в полночь — один из волхвов...

Они не были под стать друг другу, не имели внешних родственных черт, благодаря которым уроженцы разных мест примечают друг друга в толпе и испытывают взаимную необъяснимую симпатию. Что общего у Элизе — узкоплечего, с кривым носом, с шапкой черных взъерошенных волос, растущих слишком низко надо лбом, придавая ему запущенный, неопрятный вид, к тому же малорослого, что его всегда угнетало, — и у Марселя, этой крупной темноволосой голенастой птицы с длинными руками, серьезным лицом, жесткими, как проволока, волосами, которые он укрощал, густо уснащая бриллиантином, и аккуратно подстриженным затылком, — на удивление опрятного парня, хоть и в потрепанной одежде? А Ги, с чуть короткой верхней губой, не скрывавшей очень белых зубов, и кудрявой пепельно-русой головой, в свои двадцать три года был, что называется, красивым малым, он занимался спортом и был в хорошей форме. Он два раза чуть не угодил в войну: родился он в 1920-м, а подлежал мобилизации в 1940-м. Он был благодарен отцу, крупному фабриканту ликеров, который дал ему мотоцикл, хорошее образование и христианские идеалы. Все свои убеждения он почерпнул в семье.

А как бы отнесся к этому Марсель? Как-то вечером в конце 1917 года в Версале молчаливые соседи принесли окровавленную женщину с пробитой пулей головой — его мать; сначала он не узнал эту голову с темными, как у него, волосами — свою родную мать, убитую во время стачки аннамитскими солдатами. Его отец, погибший в плену где-то под Кёнигсбергом, был лишь выцветшей фотографией, которую он потерял, когда в спешке переезжал вместе со всей семьей тетки, приютившей его вдобавок к своим восьми соплякам. Его идеи... такое же чудо, как и его громадный угловатый костяк, который, помилуй бог, никак не мог сформироваться из пищи, что перепадала ему в том голодном возрасте, когда его двоюродные братья барабанили по разбитому ночному горшку, а самый младший, с печальной мордочкой и скрутившимися в бечевочки вихрами, серьезно расхаживал, держа большую ветку без листьев, словно

скипетр с растопыренными пальцами... Работа спасла от рахита и сделала крупным и костистым этого тощего от природы мальчишку, она же вложила ему в башку мысли, и они копошились в ней, как крысы. С малых лет работа бросила его в гущу мужчин. Марсель сам нарастил себе мускулы, скрепившие его длинные кости. Он сам выработал свои идеи, и они должны были свести воедино грубые факты окружающего его мира. Идеи жестокие, как и сама жизнь. Но в его жизни властвовал ужас перед войной — о ней все еще говорили, на нее ссылались, чтобы объяснить все, даже необъяснимое: несправедливость, труд в поте лица, зимы без огня; говорили о войне, бросившей позади себя людей, подобно собаке, бросающей обглоданные кости, об этой войне, которая была бы последней, если бы с умом взяться за дело, чтобы у будущих Марселей было совсем иное детство, книги для чтения, отец, как у всех, и мать, мирно живущая до старости... И тогда настанет день, когда человек не будет убивать человека.

А Элизе это ничуть не заботило! Он-то не любил своих близких. Он презирал их за то, что у них нет состояния, за их показное благоденствие пенсионеров, за то, что они не сумели обеспечить ему беззаботную жизнь, что захотели сделать из него только крестьянина. Он ненавидел землю, этот бесконечный, однообразный труд. Мальчик он был хилый, никто бы не подумал, что он вырос в деревне. Его мать, женщина весьма ограниченная, напичкала его множеством суеверий и долгое время держала при себе, вдали от людей. Этот запоздалый ребенок, родившийся через пятнадцать лет после ее дочери, служившей теперь на почте, ходил весь закутанный в теплые шали, бледный, диковатый. Он преследовал животных и бил их без всякой причины, крича: «Эй, ты! Эй, ты!» — не зная, чем еще заняться. Не стоит спрашивать, откуда взялись у него идеи. Идей у него не было. Были только мечты. Смутные, бесконечные мечты. Всегда одни и те же. С ними он и вырос.

Если и было что-нибудь общее у этих трех мальчиков... Но я как корзинщик, плетущий косички из соломы, когда между двумя крепкими соломинками ему попадает одна гнилая; какая же утомительная игра — сплести три разные судьбы, однако

это вовсе не игра: вы ведь не можете, как я, видеть зажатый в раму край плетения, вы не видите далекого горизонта, где на мгновение скрестились три взгляда... Вы не видите крови, хотя она одного цвета у всех.

Словом, если и было что-нибудь общее у этих трех мальчиков, то, пожалуй, только некоторая склонность к мечтам. Мечты их были так же не похожи, как и волосы, то было фантастическое отражение одного и того же мира, но всем трем он представлялся совершенно по-разному. Как Элизе или Марселя мог привлекать порядок, озаривший ярким светом мечты Ги? Светом, сделавшим счастливым его детство и бросившим цветные блики на натертую до блеска мебель в его доме? Понятно, он хотел, чтобы такой порядок, как у его матери, утвердился повсюду. Добрый порядок, водрузивший Христа над роялем, зажиточность, смешанную с добротой. Отец Ги был человек справедливый, насколько может быть справедливым богатый человек. Мать говорила с сыном о боге, а отец говорил с ним чаще о Франции. Франция в глазах Ги была подобна великой воительнице с твердым и ясным взглядом, некая Жанна д'Арк с лицом его матери, а у ее ног простиралась земля с величественными реками и кафедральными соборами, мудрая страна, населенная учеными, художниками, ремесленниками, серьезными мужами и кроткими девушками.

В родном доме ничто не противоречило этой мечте, а все, что приходило извне, из газет или разговоров, даже когда Ги уже исполнилось шестнадцать лет, он легко отбрасывал, если оно искажало созданный им святой образ его страны; то была не Франция. Свой мир, тот, что он носил в себе как откровение свыше, соответствовал жизни, которая была для него создана; он страстно увлекался ребяческими и таинственными играми скаутов, продолжая жить приключениями из прочитанных в детстве книг о краснокожих, из ковбойских фильмов и сожалел о временах рыцарства, которому он хотел бы посвятить себя, отдать свою чистую молодую силу, не склонную к развлечениям, но готовую на доблестные подвиги.

Он восхищался Жераром, высоким парнем, на два года его старше, с соломенными волосами, острыми, как у волка, зуба-

ми и обветренным круглый год лицом; сын офицера, Жерар собирался поступить в армию. Как-то летом, среди костров, зажженных в лесу в Вогезах, Ги проходил испытания при посвящении в скауты. Жерар приложил к его плечу кусок раскаленного железа, мясо зашипело, но Ги не дрогнул. Его мать была возмущена и подняла целую бучу. Ги уважал мать, но с тайной гордостью поглаживал свой шрам под рубашкой.

Если бы кто-нибудь вздумал рассказать всю эту историю Элизе или Марселью, она была бы для них так же непонятна, как китайская грамота. Возьмем, к примеру, Марселя и его мечты... Жизнь не позволяла ему оторваться от нее в своих мечтах. Если Ги, закрыв глаза, видел все тот же спокойный, привычный и разумный мир своих грез, Марсель имел право только на мечту живую, деятельную, схватывающую самые неотложные задачи, подстегивающую воображение, — мечту о будущем, когда изменится весь мир, от которого он себя не отделял. Эти мечты уже к шестнадцати годам привели его в компанию таких же, как и он, мужчин, они говорили о борьбе за хлеб насущный, о несправедливости и своем гневe. Юный Марсель жил в XIII округе, под завесой тяжелого желтого дыма своей фабрики, работал он теперь в химическом цехе, его окружало множество бедных и странных людей. Они пришли со всех концов света в такой прекрасный и такой жестокий Париж. Каждый со своей длинной человеческой историей, которую не перескажешь в книжке с картинками, полной приключений без всякой романтики, а порой и чудовищных падений. Однажды первого мая Марселя разбудила стрельба, он выбежал и увидел, что Сите Жанны д'Арк находится в осаде; оттуда, из окон жалких трущоб, люди в отчаянии стреляли в темноту, кишевшую полицейскими и солдатами, там вспыхивали прожекторы, освещая красные пожарные машины и баррикаду; вдруг на каком-то этаже свет выхватил перепуганную женщину, а рядом с ней мятежника — пуля угодила ему в самое сердце. Уж во всяком случае не эта казарма на холме могла открыть Марселью мир маленького скаута Ги, с его хоровым пением вокруг костров и благостной картиной Франции. Когда Марсель приехал в отпуск в Париж в июльские дни 1936 года, ему по-

казалось, что перед ним широко распахнулась дверь: весь город преобразился, однако это был не праздник, люди не возвращались ночевать домой, все без конца бродили по улицам, жандармерия казалась испуганной и пряталась.

Начались крупные стачки в захваченных забастовщиками помещениях, полные веселья, с аккордеонами и окаринами*, транспарантами и плакатами с красными и черными буквами. Рабочая сила парализовала машину, делавшую деньги. В зале магазина «Галери Лафайетт», превращенном в общежитие, звезды мюзик-холла пели для продавщиц и для молоденькой Мари, ставшей его подружкой, его женой... Мог бы Ги понять все возбуждение, все опьянение этих дней? Какие разнообразные люди и мечты; как-то вечером итальянский эмигрант в кабачке на бульваре Опиталь, сверкая глазами, говорил Марселю, что наконец-то он снова обрел Францию, ту самую, о которой он слышал раньше в предместьях Милана, Францию 1848 года,— во все города мира, где льется кровь, люди приносят, как контрабанду, ее песню... Он был под хмельком. И пел Марсельезу на своем языке...

Какие разнообразные люди и мечты; а при чем тут Элизе... Я еще ничего не сказал о мечтах Элизе. Он мечтал лишь о себе самом. Да пропади пропадом весь мир, и родные, и прочие, лишь бы сам он мог хотя бы ненадолго блеснуть, пробиться, пожить... Он встретил бы с восторгом любую заваруху, лишь бы она изменила его жалкое прозябание, нескончаемую череду времен года, смертельную скуку полевых работ. Всегда одни и те же мечты: он богат, уважаем, могуществен, окружен нежными женщинами... женщинами знатными, которые ему принадлежат... мечты напыщенные и пошлые, вне всякого времени и пространства... мечты вроде волшебных картин, какие показывают на ярмарках, вереница картинок без всякой связи... великолепные пышные города, колонии с невольниками, как на афишах с призывом записываться в морскую пехоту... женщины с томными глазами, негритянки... Не то чтоб Элизе особенно волновали женщины, но они были частью его мечты о власти,

* Духовой инструмент.

о том, как он будет гордиться, что стал важной персоной. К тому же это был реванш за так и не сделанную им попытку, ведь для него было бы нестерпимым унижением, если бы какая-нибудь дуреха из П., где он постоянно околачивался, выставила его за дверь, высмеяв за кривой нос и слабость. Затянувшееся отрочество, дикое, нездоровое. Он отворачивался, заведя парочку своего возраста в темном ущелье, среди цветущей жимолости.

Он мечтал только для того, чтобы отгородиться от всех, остаться одному, и как бы пьянел в одиночестве; заботы какого-нибудь Марсея показались бы ему ничтожными, полными грубых споров и вульгарного материализма, а мечты Ги — буржуазными; сам Элизе называл свои мечты «приключением». Скучный набор прочтенных книг поддерживал в нем жажду выдумывать неправдоподобные истории, где он сам был наделен непонятной властью и поражал всех, кто в П. относился к нему с таким пренебрежением.

В мечтах он предавал П. огню и мечу. Все, кого он знал, умирали насильственной смертью. Он насылал на них чуму или тайфун, какие описывают в географии, или войну, или жакерию. Не важно, что именно. Но в конце концов жизнь возрождалась снова. И с нею Элизе, очищенный от своего запятнанного прошлого. Он закрывал глаза, чтобы увидеть П. в развалинах.

Надо сказать, что П. — небольшая деревня с населением в триста душ, у подножия холмов, поросших каштанами, с маленькими полянками между рощами, вроде холщовых заплат на бархатном платье, с крутыми обрывами, как в настоящих горах, с ущельями, где дожди гонят по каменистым тропинкам потоки воды, а в рыжих песчаных осыпях оставляют темные ямы, называемые здесь провалами. Большинство жителей занимается сельским хозяйством: в долине П. растут персиковые деревья, есть тут немного виноградников, есть пшеница и рожь, но кое-кто предпочитает идти в дровосеки, те, что посмелее, — чаще всего из пришлых, осевших здесь случайно; они валят размеченные деревья, а потом начинается суматоха, когда приходится вытаскивать их на волах. Дровосеки живут не только этим; все они еще и браконьеры. Ночью Элизе

не раз подскакивал на кровати от ружейных выстрелов. Он не любил выстрелов. Во сне ему всегда казалось, что стреляют в него.

На подножии холмов видны большие проплешины, все они пустуют. Их не обрабатывают. На них нет деревьев. Кое-где попадаются заброшенные дома, они стоят словно немой упрек. Когда налетает гроза, в них прячутся дровосеки. Они разжигают огонь, и к утру на стенах остаются черные пятна. Элизе часто приходил к дровосекам и молча усаживался между ними. Эти люди были не такими насмешниками, как деревенские. И сильнее других. В мечтах они представлялись мальчику смутьянами, некими отрицателями семейных устоев. Он смотрел, как они крошат чеснок на ломоть хлеба, а они не обращали на него никакого внимания. Он любил смотреть, как блестят их топоры. Он любил слушать невыносимый визг пилы.

В 1938 году, когда всей страной овладел великий страх, когда Ги втайне желал войны, чтобы сбежать с занятий юридическими науками и пойти в армию, как Жерар, когда Марсель, который в своих мыслях все подчинял страстному культу всеобщего мира, родившемуся из страданий его близких, Марсель, ужасаясь самому себе, начал сомневаться в единении народов, в это же время Элизе, поглощенный только своим «приключением», стал нелепым героем истории, из-за которой о нем заговорили даже в газете «Пти дофинуа».

Вскоре после пасхи он поехал к своему дяде в Гренобль, чтобы отвезти ему 1200 франков, взятых в долг его отцом, и вот в поезде проводники нашли его в клозете, связанного, как колбаса, без бумажника, с тампоном хлороформа под носом; он бормотал в полусне что-то бессвязное. В Гренобле и в окрестностях П. он стал на несколько дней центром внимания целой кучи людей: родственников, друзей, каких-то незнакомых и полиции. Он всем рассказывал свою историю: на него напали, он защищался, но один против троих — вы понимаете? к тому же еще хлороформ... К несчастью, там придрались к веревке и к тому, как он был обмотан, и докопались, что хлороформ он купил в Валансе по поддельному рецепту... Дело приняло плохой оборот, в полиции разгневались, отец плакал. Мэру, другу

отца, удалось замять эту историю. Элизе пришел в ярость; уж лучше бы попасть под суд, в тюрьму, чем терпеть их презрительную жалость или слышать за спиной насмешки местных мальчишек. О да, он жаждал войны, хотя бы для того, чтобы люди стали думать о другом, чтобы все это уж было позади.

И он дождался ее, хотя и немного позже.



Быть может, сейчас рано говорить об этой войне без горечи. Во всяком случае, я на это еще не способен. Я пишу в то время, когда тяжкое горе еще властвует в стране и очень многое прояснилось, как отстоявшийся уксус; но еще так много подлости, так много глупости в отплату за весь героизм; так много наших еще готовы отвести глаза и отречься от тех, кто сражается, кто пожертвовал собой... право же, требовать от меня, чтобы я говорил об этих годах без глубокого волнения, — требовать слишком много.

Итак, ни Элизе, ни Ги еще не достигли призывного возраста. Эта война была войной только для Марсея. Во всяком случае, казалось, она будет войной только для Марсея. Ему пришлось пройти через все муки ада. Наступит день, когда мы сможем описать трагедию людей, веривших от всего сердца, со всей щедростью души в величие идей пацифизма и увидевших, как самые лживые, самые подлые предатели мира крали у них одно за другим их искренние слова и исподтишка вели их к заранее проигранной войне, к войне, которую они не могли ни отвергнуть, ни принять, войне без всякой перспективы; их заставляли воевать с самими собой, со своими порывами, со своим энтузиазмом. Наступит день...

Итак, для Марсея война началась с горячих споров и глубокого смятения. Все восставало против созданного им себе идеала, объединявшего человечество: факты и комментарии, поступки и их толкования. Все, что говорилось, все, что можно было написать, высмеивало его идеал. Марсея и ему подобных стыдили за то, что они поверили в непреложность фактов. Что касается самого Марсея, то его забросили в какой-то странный полк, как будто бы в армию... но там у них

не было ни оружия, ни военной формы, только берет и нарукавная повязка на гражданской одежде. Так называемый рабочий батальон. Предполагалось, они будут рыть окопы возле Мо, Куломье, седьмую полосу укреплений для линии Мажино. Можно сказать, то было преддверие каторги, где собрали подозрительных типов, бывших уголовников, рабочих парижских предместий, портных и меховщиков-евреев, ютившихся вокруг Бастилии, русских белоэмигрантов, словом, невообразимый винегрет. Всем этим сбродом командовали офицеры, громогласно говорившие на гордом языке победителей, иначе говоря, на том языке, какой Марсель всегда считал языком врагов... врагов и внутренних и внешних, вызывавших одну и ту же ненависть... И унтер-офицеры, похожие на тюремных надзирателей; в конторе какие-то типы из Парижа просматривали личные дела. Сыскная полиция. Марсель, как сотни тысяч французов, имел в своей солдатской книжке позорное клеймо «PR»*, и это обозначало, что даже в армии, откуда на словах так решительно изгоняли всякую политику, брали на учет тех, кто думал не так, как было дозволено, кого следовало любым способом унижить, опозорить, втянуть в какую-нибудь грязную историю...

Вот как в 1939 году Марселя и многих других обучали защищать Францию. Вот как им ее представляли. Подумайте о том, что должно было произойти, чтобы в конце концов Марсель и Ги, например, обрели общий язык и могли говорить между собой об их общей родине. Такой Ги даже не помышлял, что могут быть люди, родившиеся французами, для которых французский флаг в чужих руках ничего не значит, тогда как сам Ги не мог без глубокого волнения смотреть, как он взвивается в небо. Однако кого видел Марсель под защитой этого флага, разве что полицию, громившую нищий «Двор чудес», и людей, которые не знали, какому богу молиться? Как эта война могла стать его войной?

Все это резко противоречило тому, о чем твердили позже, в разговорах и в газетах, деятели Виши. Эти не отказались от

* PR — pour renseignements — для осведомления (франц.).

своего напыщенного слога, в их речах по-прежнему звучали высокопарные слова: честь, родина, верность, преданность...

Но под теми же штандартами шел уже совсем иной товар. Тех, кого когда-то хватали за то, что они кричат против войны или требуют хлеба, сегодня уже преследовали за то, что они отказываются становиться на колени, служить иностранцам, поддерживать странный и смехотворный пацифизм генералов, перешедших на сторону неприятеля, и если они теперь говорили о Франции, о Родине, то их отправляли в тюрьму. Люди теряли сон, слушая рассказы о концлагерях и застенках. Затем начались расстрелы. Полетели головы с плеч. Немцы и французы отлично договаривались, выбирая, кого надо убить, — тех, кто отстаивал, кто смел отстаивать свое право кричать «Да здравствует Франция!» до самого эшафота.

Но вернемся к Марселю; уверяли, что ему нечего опасаться «нового пополнения»*, потому что он уже сбежал. Так говорили в Сент-Этьене**; откуда они знали, чего ему опасаться и чем он занимается? Он не расстался со своей мечтой и сохранил свой прежний нрав, связывавший его со старой, опасной каждодневной жизнью.



Среди катастрофы, потрясшей всю страну, была женщина, горячо благодарившая бога. В гуще всеобщих бедствий она могла все же утешать себя тем, что ее сын, ее мальчик, ясноглазый Ги прошел через весь этот ужас, не убивая людей. Ибо для этой христианки заповедь господня «не убий» не допускала нарушений.

Все было перевернуто вверх дном в этой попранной стране, ничто не оставалось на своем месте. Даже небо поблекло. На фабрику ликеров, на прекрасный дом с блестящей мебелью, на ухоженный парк внезапно хлынула дикая и обезумевшая от страха толпа. На несколько дней пришлось устроить у входа буфет, что-то вроде столовки... А затем необъяснимое отступление

* *Rélève* (франц.) — «новое пополнение», так немецкие оккупанты называли принудительную высылку рабочих в Германию.

** *Saint-Etienne* — название тюрьмы.

ние армии... Ги говорил, что это позор, но завтра вся семья тоже снялась с места и двинулась в Шарант, где жили родственники. А фабрика, и парк, и покинутый дом увидели, как в ворота въезжают вражеские танки с серыми солдатами в башнях...

Они добрались до Шаранта и, измученные отступлением, на этот раз не двинулись дальше. Война кончилась. Дрожащий голос Маршала... Родственники говорили, что беда еще может обернуться добром. Впрочем, для них небо оставалось таким же ясным; люди часто склонны считать свои временные несчастья самым важным на свете. А маленькая деревня рядом с ликерной фабрикой их родственника, разве, несмотря ни на что, она не живет спокойно и счастливо?

Быть может, тут сказывалось тайное желание, чтобы непрошенные гости с Севера отправились домой, по правде сказать, они немного загромождали красивый, спокойный дом; так или иначе, но шарантские родственники все чаще заговаривали об экономическом подъеме. По-видимому, они были правы: пора снова открыть фабрику.

Их дом был разграблен, в парке к деревьям прибиты дощечки с надписями готическим шрифтом. Сначала отец Ги свято соблюдал все новые установления. Легион, Национальная помощь, Хартия труда... Ги повторял отцовские слова: все несчастья произошли из-за пресловутой политики. До этого довела нас политика... Когда Маршал осуждал политиканов, сначала с ним соглашались. Но вот вопрос: что делается вокруг него и чем они занимаются там, в Виши? Политикой, грязной политикой.

Как и Марсель в 1939-м, Ги теперь тоже переживал кризис. С чего это началось? Трудно сказать. Так долго, как только мог, Ги обвинял окружающих Маршала, но не его самого, в том, что ему не нравилось в Виши. А то, что ему не нравилось в Виши, часто было еще не самым худшим. Неверно было бы думать, что глаза открываются всегда по разумным причинам. Это было скорее смутное недовольство, чем определенные причины. В смятении 1940 года Ги, как и его отец, верил седовласому Маршалу с выцветшими глазами, бормотавшему, как старый дедушка. Ги слышал от него те самые слова, на

которых держалась его вера... Так произошло не с одним только Ги. Ему не раз говорили, что мечта всегда расходится с действительностью. Но такое объяснение его не удовлетворяло: он верил в свою Францию, в ее героический образ, как годом раньше Марсель верил в свою мечту о всемирном братстве. Между ним и теми, кто его окружал, постепенно разверзлась пропасть. Он боялся спросить, что думает его мать. Ах, если б здесь был Жерар! Несколько месяцев от него не было вестей; потом пришла открытка из Померании с заранее напечатанным текстом и вписанными в него стереотипными словами, но в них нельзя было найти ответа ни на один вопрос.

Позднее, по набросанным карандашом запискам, присланным из Сталага, трудно было понять, что же думает Жерар. А Ги так хотелось задать ему уйму вопросов. В начале 1942 года пришло немного более понятное письмо, где, по-видимому, говорилось о неудавшемся побеге из концлагеря. А затем молчание.

Как и Марсель в 1939 году, Ги прошел через адовы муки сомнений. Но он был хуже вооружен, чтобы защищаться, не очень-то много знал он о жизни. Слова имели над ним слишком большую власть. Такие великие, такие благородные слова... Когда отец стал помогать рабочим уклоняться от «пополнения», у Ги прямо камень с души свалился; он даже почувствовал гордость за отца. Но узнал он об этом гораздо позже, когда, нарушив запрет, тайком перешел демаркационную линию, чтобы повидаться со своими товарищами (еще одна игра скаутов).

Ибо год назад перешел в южную зону, где вступил в члены «Сочувствующих». Там его терзало множество сомнений. Он постепенно привык соглашаться лишь с частью того, что ему внушали. Приходилось молчать, сдерживаться, когда ставили кое-какие вопросы, касающиеся крупного заговора, который, думал он, охватил его страну... В мечтах Ги, в старых скаутских мечтах, никто никогда не лгал. Самое трудное было научиться лгать: ему казалось, легче убить, даже беззащитного...

В двух зонах царила совершенно разная атмосфера. Если бы Ги не пришел домой повидаться со своими, возможно, в южной зоне некоторые вещи так бы и не прояснились для него. В южной зоне каждый человек отмалчивался, каждый глядел на сосе-

да с недоверием. Но от самой демаркационной линии, и даже не доходя до нее, возникало всеобщее товарищество, начиная со взглядов, которыми обменивались разнообразные пешеходы, направлявшиеся со всем понятной целью к тайным проходам, ставшим секретом Полишинеля. К северной зоне... В северной зоне лежала другая страна, где возмущенно кипела кровь и с уст срывались дерзкие слова. Даже мать сказала Ги: «Там вам не хватает бошей, как у нас, вот чего вам не хватает»...

Но, вернувшись в свое затянувшееся детство, среди членов «Сочувствующих» он готов был уступить, он уже уступал... Подъем флага был для него всегда такой волнующей церемонией, что слезы выступали на глазах. Зачем же кое-кто из его товарищей говорил при этом такие мерзкие, возмутительные слова? Не спорить. Не слушать...

Редкие письма, приходившие от его родственников из Шаранта, только злили его. Эти люди уже не могли написать обыкновенное письмо, казалось, читаешь парижские газеты... Просто поразительная мания — повторять все, что напечатают, и вечно вести агитацию. К тому же все это зря; хотя Ги и сохранил в душе вкус к игре в краснокожих, у него не было ни малейшего желания отморозить себе ноги на Березине, как они ему советовали, правда, в менее резкой форме.

Гораздо больше, чем эти попытки его поучать, Ги настораживали отношения среди товарищей в лагере. Когда группа молодых людей одного возраста собирается отдать свою молодость и все свои силы на выполнение задач, которые увлекают их именно своей скромностью... когда вас постоянно призывают к бескорыстному служению, когда даже бессмысленно потраченное время всегда оказывается протестом, соревнованием в безумном великодушии, и не так важно ради кого, никто даже не спрашивал ради кого... когда вам все время напоминают, что великое испытание, придающее молодежи особую красоту, и есть уже действие нового режима и что прежде вас не обучали бы работать киркой, ходить голым по пояс в снежную погоду, валить деревья и мало ли что еще? — тогда очень трудно убедить себя, что все это правда, ты знаешь, что стояло такое время, когда странным казалось, что люди ходят с песнями.

Как-то вечером... Они стояли тогда лагерем возле Шатору, в долине, где протекала извилистая, обросшая колючим кустарником речка, через которую на протяжении нескольких километров не было переправы, так как единственный мост был взорван в 40-м году, до смешного маленький мостик, в то время как враг беспрепятственно перебрался через Луару. Это было в двух шагах от демаркационной линии. Как-то вечером затрещали ружейные выстрелы. Сосед Ги по бараку подскочил со сна, они спали на двухэтажных нарах, и наклонился к нему:

— Слышишь?

Лаяли собаки полевой жандармерии, они, как видно, охотились за человеком на болотистой низине по ту сторону речки. В темноте слышались голоса.

— Что случилось? Тут не поспишь...

Потом все стихло; собачий лай замер вдали. Ги долго лежал, прислушиваясь к темноте.

Утром, когда они шли, голые по пояс, в своих зеленых брюках, со сдвинутым на ухо беретом и пели песни старой Франции, направляясь к лесосеке, где рубили деревья, они встретили жандармов в защитной форме с местного поста, которые вели бледного парня с рукой, пристегнутой наручником к одному из них. Он шел согнувшись, еле волоча ноги от усталости, вторая рука была на перевязи, повязка запятнана кровью. Все молча смотрели на него. Когда те приблизились, Ги узнал Жерара. Он закричал. Жерар! Жерар раненый, изможденный, обессиленный... Ги не позволили подойти. Жандармы не желали давать объяснений. На губах Жерара застыла странная отрешенная улыбка. По лицу его нельзя было догадаться, узнал ли он Ги. Впрочем, вблизи он был уж не так похож на себя: ему доставало чего-то неуловимого, и это мешало сказать с уверенностью, что это он. И все-таки то был Жерар. Именно за ним охотились боши сегодня ночью, как за болотной дичью, а теперь жандармы, французские жандармы уводят его... Беглеца, подумайте, беглеца! В низине стонали кулики.

Ги больше никогда не видел Жерара. Порой он спрашивал себя, не было ли это ошибкой, заблуждением: был ли это и вправду Жерар? Он ощупывал под рубашкой свой шрам от

старого ожога, как будто проверяя реальность жизни, ее непрерывность... Был ли это и в самом деле Жерар?



В П. все прошло совсем тихо. В июне 1940 года, когда объявили о приходе немцев, Элизе побежал на кладбище. Примерно рота, люди хорошо одетые, свежие, совсем не похожие на беженцев, прошедших раньше. Жители дрожали. Элизе пожимал плечами. Надо же быть такими болванами... Ему хотелось, чтобы солдаты остались в П. Но они только прошли через деревню, направляясь в Валанс, а главные силы двигались туда по шоссе. «Приключение» не состоялось и на сей раз.

Чего вы хотите, ведь это только П., даже немцы не пожелали оставить здесь гарнизон... Элизе был доволен, что они напугали его земляков. Так он вымещал на них свою злобу. Он подхватил на лету сигареты, брошенные ему солдатами. Можно было подумать, что теперь у них что-нибудь изменится. Как же, держи карман. П. был забытым богом уголком Франции. Здесь ничего не случалось, ну ровным счетом ничего. Все оставалось таким же, как и всегда. До того дошло, что людям пришлось лезть из кожи вон, чтобы найти — кого бы вы думали? — нового мэра и заменить прежнего. Между нами говоря, новый стоил не больше старого. Люди молчали, но знали, что делали. Красивые объявления Виши никто не мог разглядеть: их вывешивали слишком высоко. Или вверх ногами.

Ах, если бы Элизе только мог... Он был взбудоражен новыми идеями, набрасывался на газеты, жадно слушал радио, но отец то и дело злобно выключал приемник. Вот еще толстошкурый идиот. Где-нибудь в другом месте можно было бы вступить в одну из тех организаций, где молодому человеку ничего не стоит как-нибудь выдвинуться. Но в П.! Люди насмеялись над ним. Тогда он им угрожал. А они хохотали. Но все же, все же... Когда в жандармерию пришел донос на хозяина гостиницы, что он, мол, связан с черным рынком, они очень разозлились, эти жандармы. Но все же составили акт. Против человека, который оплачивал им выпивку.

После этого случая Элизе оказался в полном одиночестве.

Он ненавидел юнцов своего возраста и бегал от девчонок. Вечно снедаемый своими мечтами, он отрывался от снов наяву, только чтобы бросить кому-нибудь несколько дерзких слов, несколько фраз, вычитанных из газет, и вскоре вызвал единодушную неприязнь всей округи. Видя, как он бродит по холмам, пастухи не раз швырялись в него камнями или натравливали на него собак.

Только среди лесорубов его еще терпели. Многие из них, беженцы из Лотарингии, были малообщительны, их молчаливость была ему по душе. Он смотрел, как они работают. Смотреть, как работают другие, было его любимым занятием. Он воображал, что командует этими здоровенными молодцами, которые, не щадя своих сил, рубили деревья. Это тешило его самолюбие. К тому же, когда они говорили между собой, их слова звучали на манер немецких. Среди дровосеков было и два-три итальянца: эти вроде бы принадлежали к стану оккупантов. Хотя на самом деле были эмигрантами и служили во французской армии, как, например, Мартини, смешной рыжий детина с желто-зеленой тряпкой на шее вместо кашне.

Элизе должен был бы помогать своим: продергивать морковь, полоть огород, окучивать фруктовый сад. Но он удирал на холмы. Отец был слишком стар, чтобы его выпороть; сестру он высмеивал. Все эти сезонные работы были ниже его достоинства. Пусть они обзывают его лентяем. Лишь бы не отрывали от его воздушных замков. Когда же его безделье становилось слишком явным, на помощь приходило вранье: он выдумывал, что ходил помогать какому-нибудь соседу, а когда один раз его уличили во лжи, сослался на какие-то таинственные занятия и, найдя весьма удобной такую отговорку, стал постоянно повторять ее, она стала привычной, как бы войдя в семейный обиход.

Элизе хотелось, чтобы его боялись. Именно это нравилось ему в немцах: они умели заставить себя бояться. Когда рассказывали истории о том, что они натворили тут или там, люди в ужасе сжимали кулаки, но Элизе в душе одобрял немцев. Он смаковал самые отвратительные рассказы. Так им и надо, этому сборищу идиотов. Но самое главное — добиться, чтобы

все признали, что он не пешка. Время от времени он совершал таинственные путешествия в город, в Валанс, может, чуть подалее и возвращался с самодовольным видом. Несмотря на все его усилия, никто не обращал на него внимания. Ни на его рассказы, будто он ходит в тайную полицию. Уж они-то знали все его вранье и дурацкую страсть нацеплять на себя всякие значки... Да вы и сами можете купить себе такие же на базаре, и я тоже... Он даже не понимает, что они значат, все эти побрякушки. А письма, которые он получает по почте, видали вы, как он выпендривается, распечатывая их у всех на глазах? Судя по печатам, письма из Валанса, он сует их вам прямо под нос. Всегда из Валанса. И уверяет, что у него большие связи, таинственные дела. А хотите знать, что это за связи? Да мне сестра его сказала, почтальонша: просто-напросто он пишет сам эти письма и бросает их в почтовый ящик в Валансе, ей-богу! А-а, вот, значит, разгадка его путешествий!

Марсель второй раз сбежал из тюрьмы. На этот раз из французской. Из страшной тюрьмы Сент-Этьен. После полугода духоты, голода, мрака и ужаса. Как раз в то время, когда бошей уже не устраивал отхваченный ими кусок Франции; им нужна была вся страна целиком. Теперь у этих троих молодых людей, склонных к мечтательности, как бы ни были различны их стремления, мечты изменились, они уже не были целиком оторваны от действительности. Цель их мечтаний была рождена самой жизнью, и мечты сливались с ней; вот почему теперь Ги уже гораздо меньше отличался от Марселя. Он находил отражение своей мечты в мелочах повседневной жизни, он понял, что больших успехов можно добиться только с помощью малых дел, соглашаясь выполнять грубую, черную работу. Для него все стало приключением. Чтобы дышать, надо быть отважным. Скауты и рабочие становились похожими, они стали понимать друг друга. Разумеется, они говорили не совсем на одном языке. Но самые главные слова они понимали одинаково. Может, они вкладывали в них не совсем тот же смысл, но такое недопонимание нередко случается в разговорах. Главное же, что они хотя еще и неумело, но употребляли те же слова для той же цели.

Это великий час в жизни народа, когда все или почти все

стараясь употреблять слова в их истинном значении; и ужасен час в нашей жизни, когда люди, прекратившие играть словами, снова принимаются за эту игру. В то время словами больше не играли.

В конце концов Марсель и Ги встретились. О, это отнюдь не было заметным событием. Для Марселя не было иного пути, кроме маки. Ги, быть может, думал, что все еще идет большая скаутская игра, во всяком случае, он мог поступить иначе, отец ему предлагал... Для Ги то был смелый шаг. Итак, они оказались оба на пустой ферме где-то недалеко от Бурдо, в доме, где осталась лишь половина крыши, среди голых и обрывистых лощин, в суровом краю с развалинами башен, пережившими ярость религиозных страстей, во имя которых люди резали друг друга двести лет назад.

— Двести лет,— сказал Марсель,— не так уж много...

Ги промолчал. Он не был протестантом, но подумал, что всего года четыре назад Марсель, наверно, был яростным антиклерикалом. Ги умел разжигать огонь на ветру и знал еще парочку скаутских фокусов в этом роде, а Марсель умел делать все. Мастер на все руки. Надо ли склотить стол, скамейку, исправить заброшенную печь, провести электричество...

Только от одного он отказывался: не мог зарезать бычка или барана, даже кролика. Ги тоже не знал, как за это взяться; к счастью, с ними были и крестьянские парни, для них это было дело привычное, уж этих-то не стошнит. Когда вот так живешь среди природы, надо уметь управляться и все делать самим. Что надо, то надо.

Первый раз, когда они взорвали рельсы, это показалось им нелепым. Особенно Ги. Разрушать... Марсель, тот не раздумывал:

— То, что разворишишь, можно потом исправить, о чем говорить?

А вот для Ги создание всего, что они разрушали — будь то мост или пилон, было окутано тайной, он не знал, сможет ли когда-нибудь участвовать в их восстановлении.

— Теперь смотри,— говорил Марсель,— вот как ты прилепишь свой пластик...

Пластиком называлось мягкое, желтоватое, почти белое вещество вроде безобидного воска. Прошлой ночью парашютисты подбросили им немалое количество. Обслуживали их хуже, чем членов FM*, у них была небольшая группа из восьми человек, всего одиннадцать вместе с местными жителями.

Бурдо гораздо южнее П. в департаменте Дром. Вокруг были разбросаны маленькие отряды, такие, как у них. Многие повели англичанам на слово, вернее, по радио и взялись за оружие, думая, что все закончится за пять-шесть недель. Для них зима была еще тяжелее, чем для всех прочих. Но больше всего им вредило, что они не очень ладили между собой; были там разные организации, были мелкие вожаки, которые хотели верховодить, было соперничество и борьба за оружие... были и предатели.

Но те, кто оставался, зная, на что они идут, как Ги или Марсель, никогда не сомневались, что добровольное самоотречение будет длиться еще долго... У них было время познакомиться, поговорить, научиться уважать друг друга. Ги расспрашивал Марселя о жизни в тюрьме. Но его коробило, что Марсель постоянно говорит о политике.

— Зачем ты примешиваешь ко всему политику? — спрашивал он.

Марсель только с раздражением передергивал плечами. Их словарь не совсем совпадал.

Вот Элизе, тот не боялся политики, он занялся бы политикой и в пользу Республики, и в пользу кого угодно, лишь бы мог выступать, срывать аплодисменты... Но в П., только подумайте, в П.! Ничто не имело смысла в этом проклятом захолустье.

Однако нельзя сказать, что там ничего не происходило. С некоторых пор там бывали тайные совещания. Мелькали пришедшие люди. Никому не знакомые лица. Какие-то чужаки жили в маленьком доме за кладбищем, говорили, будто это евреи. Несколько юношей исчезли. Как-то раз Элизе сказал, что он, мол, не понимает — почему люди так боятся попасть в Герма-

* FM — *Fraternité Mondiale* — Всемирное братство (*франц.*), международная организация.

нию, уж наверное там повеселее, чем в П., и заработал увесистую оплеуху от итальянского дровосека, того, что носил кашне из желто-зеленой тряпки. Чего же он ждет, этот Элизе, и сам не едет в Германию, если ему не терпится? Так-то оно так; но дело в том, что ни для бошей, ни для англичан он не желал рано вставать, утруждать себя, работать...

Теперь по соседству с П. обосновались макизары. В большом доме папаши Рапена, в сторону башни С. На маленьком проселке, за которым уже никто не следил, внизу под башней. Просто роскошное маки. Совсем не такое, как у Ги и Марсея. Почти легальное. Люди говорили: это «молодежь Маршала» и хитро подмигивали. Их начальники ходили по фермам за продовольствием и платили щедрой рукой. Среди них был художник, он расписал фресками столовую. У них был даже мотоцикл. Они еще не перешли к действиям. У них там ни в чем не было недостатка. Даже в оружии, но им еще не пользовались... Так продолжалось три или четыре месяца. В П. молодежь между собой только о них и говорила. Рассказывали, что у этих макизаров есть сообщники даже в префектуре. Показывали на высокого парня в очках, с голыми коленками; дескать, это сын председателя Торговой палаты... В сторону башни С. часто проезжали какие-то машины, а в них господа, похожие на офицеров в штатском. Элизе частенько бродил в этих местах. Ведь это было его ремесло, разве нет? Разнюхивать, что происходит. Уж коли ты связан с тайной полицией...

— Заткнись,— говорила ему сестра,— мне тошно тебя слушать.

Пусть себе пожимает плечами. Посмотрим, посмотрим...

Как-то утром загрохотали грузовики, люди выбежали на улицы П. Боши... Они спрашивали дорогу на С. Надо предупредить макизаров. Велосипедист помчался напрямик по самой короткой тропинке. Элизе смотрел на проезжающую колонну: первой шла черная легковая машина с двумя французами, за ней самоходная пушка, а затем грузовики, набитые солдатами, наверно сотни две, с автоматами наперевес, готовыми открыть стрельбу... Сила! Эх, рядом с этими типами чего стоят жалкие хвостуны из П. Уж с ними-то шутки плохи. Он тихонько по-

смеивался над испуганными женщинами, притаившимися за ставнями: а еще хорохорились...

Макизары успели скрыться, правда потеряв часть оружия и радиопередатчик, но все же... А дом папаши Рапена они обстреливали целый час, эти боши. Но не приближались к нему. Они его развалили, подожгли все, что от него осталось, и только тут расчихали, что в нем никого нет. Тогда на всякий случай убили старика, стоявшего за деревом метрах в трехстах и смотревшего на весь этот спектакль.

П. был терроризован. Но все же не настолько, чтобы не поставить на место Элизе за неосторожное замечание по поводу сгоревших фресок; один из сыновей Рапена влепил ему пощечину. Не повезло Элизе: в тот раз схлопотал от Мартини, а сегодня... Этот врунишка сам не знает, что мелет. Во всяком случае, когда твою халупу сожгли, у тебя нет охоты слушать поучения такого сопляка. Нет, вы слышали, что он сказал? Что заслужил, говорит, то и получил...

Много раз группе Марселья и Ги приходилось тоже менять убежище. Замеченный по соседству полицей, предостережение, полученное из Валанса... Не простое это дело — каждый раз находить подходящее убежище, выходы из которого легко охранять, чтобы не оказаться в ловушке, и где бы не слишком разгуливал ветер. Наступили холода. Иногда выпадал снег.

Для Ги Марсель был словно книгой, рассказывающей о чужой стране. Как-то Ги сказал ему об этом. После той вылазки, что так плохо обернулась, когда жандармы стреляли в них и подбили маленького Бернара.

— Однако,— сказал Марсель,— мы — это тоже Франция...

Пришлось с этим согласиться, как и с тем, что Франция — не только соборы и просторные дома с натертой до блеска мебелью. Франция также страна самой обычной нищеты, шахт, лачуг, дымных барачков, страна тех людей, каких Ги видел раньше только издали; у них был с Ги, конечно, не совсем одинаковый словарь, но и они, хотя и на свой лад, понимали, что значит величие. Взять хотя бы Бернара. Что толкнуло его к ним? Маленький человечек никогда не боялся трудностей, вставал раньше всех и заступал на дежурство, когда его никто не

просил... Никто бы не поверил, что до войны он был бухгалтером. Для бухгалтера у него были сильные руки. У нас, видимо, неправильное представление о бухгалтерях... Они увезли его ночью в своем грузовичке... как Жерара тогда утром на болоте, когда стонали кулики.

Бернара заменили другим. Их все же одиннадцать. Они не считались с опасностью ни днем, ни в бессонные ночи. Однажды к ним пришел человек. Уполномоченный из центра. И повел очень серьезный разговор. Их просили выполнить особую работу. Сначала они упирались. Тогда тот, здоровый краснощекий тип с седеющими волосами и крепким затылком, в темной полотняной рубашке, ее ворот, казалось, вот-вот задушит его, объяснил им, как обстоит дело. Кто-нибудь должен выполнить эту работу. Если бы у всех были слабые нервы... В таких случаях на карту поставлена всеобщая безопасность. У них ничего не предпринимают, если все не уверены, что это необходимо, только когда есть точные доказательства. Их группа на хорошем счету, она работает серьезно. Считают, что на нее можно положиться. Франция. Он ушел. Они согласились. Да разве можно было не согласиться? И Ги был согласен, но спать не мог. Ночью, когда он встал, потому что замерз, огонь затухал, а товарищи, завернувшись в одеяла, мерно дышали во сне, он увидел Марсея, стоявшего на часах и глядевшего на него.

— Ты тоже думаешь об этом? — шепнул он.

— Да, — ответил тот, — но не так, как ты.



Этот Мартини, итальянец, когда за ним приехали боши — шесть человек на машине, — ушел от них прямо из-под носа: они его не знали в лицо. Он был у пекаря в П. и вышел от него, скручивая сигарету. Это была старая история: после вольта Муссолини в газетах появился призыв к итальянцам, они должны явиться в Валанс, то ли чтобы завербоваться, то ли... поди знай для чего? Итальянец оставался на месте и спокойно валил себе деревья. Одиночество, надо думать, было ему в тягость, говорили, что он известный юбочник. Но его нетрудно поставить на место, хоть он и смахивает на сатира.

А теперь он скрылся среди холмов — поди поймай его. Пришла весна, дивная весна, расцветшая на развалинах и гнили войны, и потому, верно, такая прекрасная. И житель лесов исчез среди лесосек и желобов для спуска бревен, по которым бежали ручьи под желтоватыми почками на блестящих черных ветвях.

Офицер допросил четырех или пятерых свидетелей и зашел в мэрию; он узнал, что этот Мартини Джузеппе родился в... постойте, в 1908 году в Поджибонси, что он имел ружье и хвастался им при свидетелях, что он помогал мятежнику... передал ему поношенную синюю куртку, принадлежавшую... Они ушли не солоно хлебавши.

Что это были за птицы? Три-четыре дня спустя перед гостиницей остановилась роскошная черная машина с немецким номерным знаком WH. В ней сидели шофер и двое штатских. Они спросили, как им проехать. Хотели видеть Элизе. Люди замялись, не спешили с ответом, тогда один из них вынул револьвер и сказал:

— Гестапо...

Элизе не было дома, его сестра готовила сыр и разливала сливки с козьего молока из кувшина в формы. Когда вошли эти господа, она остолбенела. Они сказали:

— Это ваш брат, правда? Он хотел нас видеть?

Они здорово говорили по-французски, эти фрицы, она настаивала на этом позднее, когда рассказывала о них. И тут вернулся Элизе. Они увидели, как он вошел, маленький, черный, с всклоченными волосами, узкоплечий, в кожаной куртке, и переглянулись: они, видно, не ожидали, что он такой щуплый.

— Вы искали меня, господа?

— Мы получили ваше письмо. И хотели бы с вами поговорить...

Элизе просиял. Наконец-то, наконец его принимают всерьез. Ради него побеспокоились три человека... Приключение, приключение...

— Вы можете поехать с нами?

Одна форма со сливками упала на пол, фу, какая гадость!

Элизе и не подумал помочь сестре, он торжествовал. Она извинилась перед ними и шепнула брату:

— Ты и вправду им написал?

Он не удостоил ее ответом. С какой готовностью он последовал за ними... А какой взгляд бросил своей застывшей в ужасе сестре... Дуреха.

На улице трепетная весна была пронизана солнечными бликами и легкими тенями. Пришло время бегать по холмам, бродить по полям, где пробивается первая травка, время песен и свиданий, время птиц на еще голых ветвях деревьев...

В машине, сидя между двумя приезжими, Элизе дал себе волю и говорил, говорил. Он объяснил им свое положение в П. Глупые люди нисколько его не опасаются, так что он может все узнавать. Такой-то снабжает продуктами подпольщиков, другой приютил парашютиста, третий — коммунист. Вы знаете папашу Рапена, того, что отдал свой дом макизарам? Его сын по-прежнему поддерживает с ними связь, он врал, когда уверял, будто не знает, кому сдавал свой дом... А возле кладбища прячутся евреи...

Здесьней молодежи пробираться в маки помогает шорник. Не в то маки, что вы сожгли... то было маки для богатых, они идут в небольшие плохо вооруженные группы, их легко уничтожить... Здесь у молодежи передовые идеи. Антимилитаристы, понимаете ли...

Элизе старался наверстать упущенные годы молчания, презрения и одиночества. Да, он мог бы поступить в местную полицию, но лучше иметь дело с господом богом, чем с его святыми, правда ведь? Взять хотя бы болвана Мартини, я-то хорошо знал этого дровосека. Найти его ничего не стоило, держу пари, что он спрятался у Шеваля, продавца быков, они очень дружили... Не надо было приезжать за ним так в открытую. Я писал об этом в моем первом письме. Вы получили второе? До сих пор я не решался давать свой адрес. Но когда увидел, что они приехали за Мартини... Я решил, что лучше рассказать вам все лично. Вы не заставили себя долго ждать. Во втором письме...

— В этом? — спросил один из приехавших, черноволосый. Элизе узнал письмо.

— Да, это второе. Но я приготовил еще одно, вот, подождите-ка, подождите...

Он шарил по карманам, не находя письма, наконец нашел его у себя в бумажнике, где почему-то хранил и свою фотографию, снятую в день первого причастия.

Белокурый по ошибке взял вместе с письмом и фотографию и машинально прочитал под снимком, на бумаге «сепия» с золотой каемкой, фразу из Священного писания: «Пустите детей приходить ко мне». И поспешно вернул хозяину этот благочестивый сувенир, оставив у себя письмо с надписью «В комендатуру, Валанс». Никаких сомнений, это был тот же почерк, тот же адрес, что и на том письме, которое им передали.

— Вы увидите,— сказал Элизе,— я приложил список всех голлистов, всех, кто ловит Лондон... О, они не стесняются. Послушали бы вы сами вечером в четверть десятого!

Они только что проехали подъем, где дорога сужается, как бы стиснутая ущельем. В этом месте макизары не раз «реквизировали» автомашины. Затем дорога снова спускается в долину и петляет, петляет, петляет... Первые листья, и воздух такой мягкий и влажный. Черноволосый положил руку на плечо шофера. Машина остановилась.

— Здесь нам будет удобнее поговорить.

Элизе сопротивлялся, но они его подталкивали. Он хорошо знал это место, где дорога шла по краю оврага, не очень глубокого, но с обрывистым склоном, поросшим акациями; акация скоро зацветет и зальет своим необыкновенным ароматом это пока еще мрачное место.

— Что же это такое? Послушайте, господа!

Они вынули револьверы. Голос Элизе замер у него в горле. Он еще не понимал. Только через несколько секунд он испугался, почувствовал смертельный страх. На него было неприятно смотреть, он весь позеленел. Они подтолкнули его ближе к краю обрыва. Они ничего не объясняли. Это было ни к чему. Ноздри Элизе раздувались, словно он тщетно пытался вдохнуть запах акаций. Белокурый заметил на них крошечные капельки пота. Мечта Элизе вдруг слилась с реальностью, с ужасной реальностью. Приключение.

Они выстрелили одновременно, и пули их скрестились. Когда убитый упал, они взглянули друг на друга. Белокурый совсем побелел.

— Что же ты хочешь?— сказал другой.— Что надо, то надо. Помоги-ка мне...

Ги помог Марселью. Один взял за ноги, другой под мышки. Они раскачали и бросили мертвого в овраг. Было видно, как он катился вниз, потом остановился. Какой мягкий воздух, и скоро зацветет акация. Внизу осталось только темное пятно среди травы и щебня.

Марсель набросал носком ботинка немного земли на маленькую лужицу крови. На свежей траве висело несколько алых капелек.

— Ну как, готово?— крикнул шофер.

Они вернулись в машину. На сиденье лежало письмо, перехваченное почтовым служащим и переданное борцам Сопротивления. Они сели и поехали в полном молчании.

Марсель посмотрел на мокрый лоб Ги добрым взглядом. Он тронул за рукав своего товарища.

— Ну, ну,— сказал он тихо, чтобы не услышал шофер,— ничего не изменилось, старина, не всегда же будут убивать.

Май 1944 г.

Встречи

Его сестра была стенографисткой в газете; смелая и самоотверженная девушка, эта Ивонна, почти красавица, несмотря на свой вздернутый носик. И с большими голубыми глазами. Мне хотелось поволочиться за ней, но она была такая серьезная, а мне... жениться?.. Встретил я их первый раз вдвоем на Зимнем велодроме. Хотя спортсмен я никудышный, меня вечно посылали в придачу к спортивному репортеру на большие соревнования: футбол, гонки и прочие штуки,— чтобы передать атмосферу. А вы, Жюлеп, сочините мне врезку строк на двадцать пять...

Меня просто бесит это имя. Зовут меня Пьер Вандермелен; вначале, шутки ради, я подписывался Жюлеп только под мелкими дурацкими заметками, которые все заказывали мне наперебой, и сохранял свое настоящее имя для серьезных, хорошо написанных статей... Но как раз эти дурацкие штучки имели успех, Жюлепа все знали, а Пьер Вандермелен мало-помалу стушевался перед Жюлепом... Такова она, жизнь...

Значит, было это на велодроме лет десять тому назад. Как-то вечером, во время шестидневной гонки, в резком сиреновом свете гонщики кружились, кружились... Я проболтался час внизу, между громкоговорителями, буфетом, шикарнейшей публикой, которую шокировала толпа настоящих любителей, а потом вскарабкался наверх к дешевым местам, в тот день набитым до отказа. С верхнего яруса я заметил внизу, в одном из первых рядов, какого-то одержимого: он вскакивал, молотил воздух кулаками, кричал, наклонялся к своей соседке... Как раз то, что мне требовалось для атмосферы. Я подошел, чтобы понаблюдать за ним, и тут меня окликнула его соседка:

— Мсье Жюлеп?

Никак это слава?.. Нет, то была только Ивонна, а бесноватый рядом с ней — ее брат, Эмиль Дорен, рабочий-металлист, с таким же вздернутым носом, как у сестры, но не такими красивыми глазами, и русыми волосами, свисавшими плоскими прядями на лоб, покрытый сейчас каплями пота. Приятная морда. Он представил мне свою жену Розетту, маленькую брюнетку с молочно-белой кожей, усыпанной веснушками, и со светлыми глазами; она была бы очень хорошенькой, если бы немножко прифрантилась.. Что до Эмиля, то он был снова поглощен гонкой. Тут он чувствовал себя как рыба в воде. Я же никогда ни черта не смыслил в этой путанице спринтов, позиций, реклам Кашу-Ляжони, шелковых чулок «Этам», вина «Фрилёз» — и в криках распорядителей, разноцветных майках и крупно написанных цифрах, вывешенных на черной доске. Эмиль был из тех, кто от ярости или восторга швыряет свою кепку на трек, а порой следом за ней и свои ключи (хотелось бы знать, как такие потом попадают домой).

Затем я, как по заказу, стал повсюду встречать Эмиля. Один раз в метро, другой — у Порт Майо, на старте Тур де Франс или чего-то в этом роде. Словом, если есть на свете веломаньяки, то Эмиль был настоящим веломаньяком. Можно было сказать с уверенностью, что вы встретите его повсюду, где крутят педали, ему никогда не надоедало это зрелище. Он меня узнавал:

— Привет, мсье Жюлеп!

Я говорил ему, что меня зовут Вандермелен, но это ничего не меняло.

И мы болтали о том о сем... В то время он работал у Кодрона. Монтажник-наладчик. Он хорошо зарабатывал на жизнь. Вернее, он сам называл это «хорошо зарабатывать на жизнь». Превосходный рабочий. По энергии ему не было равных: кончив работу, он вскакивал на свой велик и мчался на другой конец Парижа, в район Лиля, где, не знаю с помощью какой комбинации, приобрел один из тех крошечных садилов, на которые больно смотреть, и выращивал в нем овощи, цветы и развешивал стеклянные шары, чтобы отгонять птиц. Он уверял, что копать

землю — прекрасный отдых. По воскресеньям он целиком принадлежал своему «пети рен»*: он мчался с супругой за шестьдесят, а то и семьдесят километров под предлогом устроить пикник или разыскать кабачок, где они когда-то закусывали еще до того, как поженились.

Жена Дорена была беременна, когда Ивонна как-то вечером вздумала привести меня к брату. Я должен был во что бы то ни стало взять интервью у «человека с улицы», уж не помню о чем и для какого иллюстрированного еженедельника, но на свой вежливый вопрос получил такие идиотские ответы от трех или четырех нахальных прохожих на улице Пикпюс, Итальянском бульваре и площади Мобер, что уже почти пришел в отчаяние. Так вот, Ивонна, фотограф — некий Протопопов, как мне помнится, сын генерала, и, разумеется, я сам отправились втроем, захватив фотоаппарат, магний и лампу-вспышку в Булонь-Бианкур, к ее брату. Там мы застали Эмиля, уже довольно кругленькую Розетту и ее сестру с мужем, крупным блондином в кожанке, лет под тридцать, который, как и его жена, работал у Рено, кем-то вроде кузнеца; он был довольно молчалив. Ну, а Эмиль был великолепен. Я уже не помню ни о чем шла речь, ни что он отвечал, но он был просто великолепен. Все выпили по стаканчику. Я между делом повздорил с его свояком, потому что тот был явно коммунистом, и мы, разумеется, раза два сцепились. Эмиль признался мне, что решил купить в рассрочку тандем для себя и жены, когда у них родится ребенок.

На тандеме я и увидел их снова, уже весной, они ехали под палящим солнцем в сторону Шампань-сюр-Сэн.

— Эй, мсье Жюлеп!

Эмиль подробно объяснил мне конструкцию своего нового двухместного коня: и переключение скоростей, и то, и се... Я вежливо спросил, как поживает его свояк: после февраля 1934 года наступило очень беспокойное время. Но Эмиль уклонился от разговора о политике, он был слишком поглощен своим тандемом.

* Марка велосипеда.

Я опять встретил его в Монлери на велогонках за лидером. Но Эмиль считал, что это мура. Несерьезно. Ему хотелось бы следовать за гонкой Париж — Ницца, но он не сможет из-за работы на заводе. Гонка должна состояться в 1935 году. Затем я встречал его не раз на дорогах, теперь эта пара возила на тандеме своего младенца — мальчик, вылитый папаша, катился в маленькой корзинке, привязанной к рулю.

Потом у них родился еще ребенок — девочка, это было уже в тридцать шестом, во время стачек. Я увидел Эмиля на одном из тех неслыханных собраний-концертов на занятых рабочими заводах, куда звезды эстрады приходили петь для бастующих. Казалось, он веселится от души.

— Как, Эмиль, и вы среди забастовщиков?

— А как же, мсье Жюлеп, надо делать то же, что и все. Нельзя же предавать товарищей.

Должно быть, то было влияние его свояка.

Я снова встретил его на велодроме. Затем наткнулся на него в салоне автовыставки. Заметил его издали в Клиши на очередном состязании вроде Пари-Рубе, и мы помахали друг другу. Вскоре мой листок организовал велогонки по кругу, а меня выдвинули распорядителем: я метался на старте с трехцветной нарукавной повязкой и кучей значков на лацканах и слышал, как меня кто-то окликнул:

— Эй, мсье Жюлеп!

Эмиль и его жена, оба нисколько не изменились, только она казалась чуть-чуть усталой. Они решили усыновить испанского ребенка, но не знают, имеют ли право взять его, живя в Париже...

— Зачем вам взваливать себе на шею чужого ребенка, вы в своем уме?

Она улыбнулась и сказала:

— Там, где есть на двоих, хватит и на троих...

На сей раз уж ясное дело, это свояк вбил им в голову такую мысль. А как, кстати, его дела? Они его не видели довольно давно...

— Ну, ну, вы что, поссорились?

— О нет! Он в Испании... воюет с Гитлером...

Он произносил “il est h-en Espagne”, не делая связки, совсем как Монтерлан, у которого я брал накануне интервью: он рассказывал о девушках, преследовавших его своими ухаживаниями, и произносил на изысканный манер: “Comment h-allez vous?”

Однако парижанам не разрешили брать испанских детей. Я скоро сказал об этом Эмилю в венсенском автобусе. Он покачал головой.

— А мы бы это сделали... Они там подышают ради нас... Пропаганда здорово обрабатывает людей.

Мне пришлось еще раз, не находя никакой новой идеи, взяться за фильм о мнении «человека с улицы» во время мюнхенских дней, и я, естественно, подумал об Эмиле. Но на этот раз у меня вырезали Эмиля, то, что он говорил, прямо сказать, не лезло ни в какие ворота. А я еще смягчил его слова... Затем я уж не вспоминал его до мобилизации. Но пришел день, когда я был лейтенантом пехотного полка, поставленного для подкрепления линии Мажино в каком-то захолустье, недалеко от Меца; во время обеда звучало радио и Шевалье запел песенку «Мимиль». А я, как дурак, все время видел перед собой славную морду Эмиля, его жесткие волосы и вздернутый нос. Где-то он сейчас, Эмиль? А его свояк-коммунист? Уж этот-то наверно попал в переплет, вернувшись из Испании... Возможностей встретиться становилось все меньше. Не было больше велогонок, не было нужды ловить «человека с улицы» и брать интервью о его отношении к приезду английского короля или к распространению танца «black-bottom».

Однако мне все же довелось его увидеть в разгар войны, Эмиля, в самую заваруху. В самой гуще всей этой мерзости. После того как мы удержали позиции на Эне и на Уазе, но с яростью в душе отступили, подчиняясь приказу. Было это, наверно, 12-го или 13 июня. Никогда я этого не забуду. Местечко в Нормандии, в департаменте Эр. Замок Людовика XIV, водная гладь пруда, темные и молчаливые аллеи подстриженных деревьев, большие мифологические скульптуры на пилястрах при входе. Площадь, запруженная нескончаемыми

отступающими обозами, печальные надписи на дверях церкви: «Здесь прошла Жоржетта Дюран»... «Мама, мы двигаемся на Анжер»... И мы в этой каше, попеременно с драгунами и их повозками, с ранеными, которых увозят в тыл, а боши не больше чем в одном, в полутора километрах двигаются по дороге на Эврэ. Сколько времени мы продержимся? На улице, напротив монастыря, школу сестер-монашенок медики заняли под лазарет, и мы должны были позавтракать с ними, потому что походная кухня... да что говорить! Походной кухни уже не было. Стояла давящая жара, сквозь свинцовое небо иногда прорывались яркие краски июньского дня, но тут же меркли, и все снова мрачнело. Во дворе под невысокими деревьями стоял длинный деревянный стол. Ели все вместе: врачи, несколько офицеров, в дальнем углу — сержанты, простые санитары и раненые, не разбирая чинов, те, что могли сидеть за столом; они ждали, пока за ними приедут санитарные машины. Молоденькая сестра-монашка, вся в белом, в нелепом головном уборе, сновала среди нас, разнося тарелки, помогая дежурным, приветствуя офицеров, и придерживала руками юбку, перепрыгивая через кучу оружия, сваленного как попало в углу.

Немецкая артиллерия стреляла через наши головы. Наверно, они обстреливали дорогу, выходившую из города.

Среди нас был солдат — должно быть, солдат? — с голым торсом, гипсовой повязкой, кое-как наложенной на левое плечо и руку, висевшую на марлевой перевязи, лицо его обросло трехдневной щетиной. Когда он окликнул меня: «Мсье Жюлеп», я так и подскочил. Теперь я был лейтенант Вандермелен, кто же мог?..

— Вы меня не узнаете?.. Дорен, брат Ивонны...

— Как, Эмиль? Вот это да!

Он рассказал мне, что был в группе франтиреров из кавалерийского дивизиона. После Дюнкерка им не дали достаточно танков, впрочем, сам он вел машину с пулеметом «Гочкис»...

— Его не сравнишь с «пети рен», верно, Эмиль?

Он лишь слабо улыбнулся в ответ. Наверно, у него крепко болело плечо. Он частенько машинально тянулся к нему правой рукой и дотрагивался до гипса. Оказывается, он пришел из

окрестностей Рамбулье, его группа франтиреров обстреливала дорогу из пулеметов... после ухода армии...

— Просто чудно... Рамбулье... Сколько раз мы мотались туда на великах... я и Розетта...

Он не знал, что теперь с Розеттой и детьми, быть может, они все еще в местечке Панам, под самым носом у бошей... а может, и того хуже, двигаются куда-то по дорогам, как и... Где-то неподалеку разорвался снаряд. Я не дослушал продолжения, меня позвал капитан-доктор. Все были в сборе и обсуждали обстановку. Ходило множество слухов. Американцы собираются вступить в войну. Русские атаквали бошей, а в Париже теперь коммунизм... Люди повторяли все слухи, ничему не веря, и глядели друг на друга, чтобы узнать, что думают об этом другие. То был первый день, бросивший яркий свет на наше поражение. В погребе хранилось доброе вино, не оставлять же его фрицам, ведь они и пить-то не умеют.

— Как вы думаете, что могут понять рабочие в Париже?— сказал капитан-доктор, молодой толстяк с усами щеточкой.— Представьте себе, что Торез входит туда вместе с германской армией...

Вот тут Эмиль и подал голос. Не очень громко. С некоторой сдержанностью. Но решительно.

— Когда я был у входа в Рамбулье,— сказал он,— знаете, там, перед замком президента, мсье Жюлеп... мы нацелили свои пулеметы и винтовки на дорогу... Боши еще не подошли, но там были парижане, с каждой минутой их прибывало все больше с немыслимым оружием в руках... жуткое старье... потом появились группы рабочих, целые заводы, люди узнавали друг друга... Они говорили с нами на ходу. Рабочие с Сальмсона... потом с Ситроена... И вдруг — кого я вижу? Моего свояка и его жену, только подумайте! Тут уж они нам порассказали... У них на заводе, и у Рено тоже, когда рабочие узнали, что боши скоро войдут в Париж, они хотели все разгромить. Ан нет! Как бы не так! К ним послали жандармов, а те угрожали открыть по ним огонь... Они уже ничего не понимали, скажу я вам... Сохранять машины для бошей, можете себе представить? Теперь уж никто ничего не понимает, равным счетом ничего!

Как и все, я обернулся и смотрел на Эмиля. В глазах у него стояли крупные слезы. На этот раз, когда его забрала санитарная машина, я подумал: вряд ли доведется мне еще его увидеть. А позже я встретился в Марселе с голубоглазой Ивонной, туда эвакуировали ее газету. Немало воды утекло к тому времени. За окном слышались голоса ребятишек, певших: «Маршал, маршал... вот и мы!» По тротуару важно расхаживали какие-то юнцы в одежде, смахивавшей на военную форму. Свободная зона жила в разгаре иллюзий.

— Эмиль? — сказала Ивонна. — Он вернулся в Париж, а потом ему пришлось скрыться. На заводе обнаружили вредительство...

— Еще что! — воскликнул я. — Вот уж уверен, что Эмиль не вредитель!

Мне показалось, будто Ивонна как-то странно посмотрела на меня своими голубыми глазами. Просто возникло такое ощущение. Она становилась все больше похожа на брата. Я удивлялся, почему она до сих пор не вышла замуж.

Незадолго до рождества я перебрался в Лион. Наш патрон увеличил тираж своего листка. Как-то вечером, на станции Перраш, я дожидался поезда на Камарг, куда меня послали побеседовать с жителями о возвращении на землю; тут меня в спешке толкнул какой-то тип и бросил:

— Нельзя ли поосторожней? Как... мсье Жюлеп!

Да, снова мой Эмиль. Как его плечо и рука? В полном порядке. Ребятишки? У дедушки с бабушкой. А Розетта?

— О, она работает...

— Как, и оставила детей? А вы еще хотели усыновить испанского ребенка...

Он бросил на меня такой же странный взгляд, как и Ивонна.

— В такие времена, как сейчас, у людей нет возможности заниматься даже своими собственными ребятишками...

Он не стал распространяться о том, чем занимается сам. Я спросил, что слышно о свояке. Он отвечал мне как-то уклончиво. Поезд его уже уходил.

Можно сказать, что летом 1941 года умонастроение людей заметно изменилось. Почему — я не знаю. Немцы были под

Москвой, но они ее не захватили. В поездах языки начинали развязываться. Люди думали совсем не так, как полагали наверху. Где-то недалеко от Тарба в одном из перегруженных вагонов, в проходе, забитом чемоданами и пассажирами, спящими взад-вперед к туалету, говорили вслух такое, что можно было одновременно и приходить в ужас и потешаться. Я узнал Эмиля по голосу.

— Погодите маленько,— говорил он,— и увидите, как они им наложат.— Какой огонь горел в его глазах! Я снова увидел Эмиля с Зимнего велодрома, Эмиля, швырявшего свою кепку на трек, но теперь он говорил не о гонщиках, он говорил о русских.

— Вы не сказали мне в прошлый раз, что стало с вашим свояком.

Внезапно по лицу его пробежала мрачная тень. Резким взмахом руки он отбросил со лба жесткие пряди волос и наклонился ко мне. Я не понял выражения его лица.

— Вы что, поссорились?

Он передернул плечами.

— Боши...— сказал он вполголоса.— Сначала они сбили его с ног пулеметным огнем... потом прошли по нему... раздавили ему лицо сапогами, проломили череп...

Вот уж чего я никак не ожидал... Его свояк. Коммунист.

— Что же он сделал?— спросил я, как дурак.

Он пожал плечами. Здесь не место говорить об этом. Так вот, на заводе, где он снова работал по приказу своей партии, началась забастовка. Власти собирались расстрелять во дворе десять рабочих, а забастовщики бросились на бошей, чтобы вырвать у них из рук своих товарищей... Да, вот так, безоружные... его свояк был впереди... И они его растоптали...

Когда Эмиль сказал «растоптали», мне почудилось, что я вижу эту сцену, в его приглушенном голосе мне мерещилась дикая пляска зеленых солдафонов, неистовство разъяренных зверей в касках... Мне так хотелось что-нибудь сказать ему...

— Это чудовищно... Но разве сейчас разумно устраивать забастовки?

Эмиль сначала не ответил. Потом посмотрел мне в глаза.

— Мсье Жюлеп,— сказал он,— ведь мы не боши... Разумно ли? Не о том речь, что надо быть разумным. Надо выгнать бошей... Вы помните тридцать шестой год? Тогда вы спросили меня, почему я участвую в стачке... Так вот! Сегодня, как и тогда, нельзя предавать товарищей... И когда один падает, десять других должны стать на его место.

Какой-то громадный фельдфебель протиснулся между нами, источая особый запах немецкой солдатни, с ничего не выражающим лицом — такого никому не удастся соорудить лучше бошей.

— Они хорошо одеты,— заметил Эмиль и заговорил о другом.

Я не видел его весь 1942 год. Дела у нас принимали странный оборот. Уже нельзя было встретить людей, которые защищали бы Виши. Работать в печати стало просто невозможно. Газеты делались с помощью клея и сообщений из OFI*. Конечно, время от времени мы пытались просунуть несколько слов туда, сюда, но там, в этой цензуре, сидели такие полицейские сволочи! К счастью, они частенько бывали не очень-то сообразительны.

В ноябре, с приходом американцев в Алжир и оккупацией южной зоны немцами, сомнения могли еще оставаться лишь у тех, кто был глуп как пробка. Наш листок закрыли. Патрон вел себя шикарно, несколько времени он продолжал нам платить, будто ничего не случилось. По существу, я первый раз в жизни смог оглядеться. Мне дали возможность кое-где печататься с помощью людей из Сопротивления. Но я пока еще бродил ощупью. ...И наступила ночь, когда Гитлер, уничтожив нашу армию, нанес смертельный удар Виши...

Наконец я взялся писать периодические приложения для некоторых газет, где еще работали наши товарищи. Конечно, не очень-то приятно было читать то, что печаталось на соседних страницах. Но я не трепал там ни имя Вандермелен, ни подпись Жюлеп. А жизнь была очень дорога. Даже если и не питаться на черном рынке... а только иногда брать дополнитель-

* OFI — служба подготовки работников международных организаций.

ное блюдо в ресторане... это стоило так дорого! Но зато я не расписывал «пополнение» розовыми красками и не отвечивал поклонов разным паразитам...

Когда я узнал, что Ивонну арестовали, я был поражен. Бедняжка. Сначала ее держали в Монлюкской тюрьме. Говорили, что там очень скверно и к тому же все переполнено. Что же она могла сделать? Ох, эти сотни тысяч людей в тюрьмах и лагерях, кто знает, что они все могли сделать? Ивонна была мужественная девушка, не теряла присутствия духа, даже когда мы попадали в переделки. У нее приходилось только проверять орфографию имен собственных...

Потом я увидел Эмиля в Ницце, но не был уверен, что он меня заметил, однако мне показалось, что он только делает вид, будто меня не замечает. Мне хотелось побежать за ним, главное, чтобы узнать что-нибудь об Ивонне, но нет... О, совсем не потому, что я боялся быть навязчивым. Эмиль в глубине души любил встречаться со стариной Жюлепом... Но я был не один; вы меня понимаете... В конце концов пока он все-таки остался жив.

Незадолго до этого я спрятал у себя коллегу, еврея, которого преследовали, хотя он ничем не провинился, кроме того, что был евреем. Ему были нужны бумаги. Я пытался достать их через своих знакомых из Сопротивления... Но пока прятал его у себя. В конце концов чувствуешь себя неловко, если ничего не делаешь. Арест Ивонны произвел на меня сильное впечатление.

Мой гость как будто сумел выкрутиться. Он нашел людей, которые за изрядное вознаграждение хорошо подделывали документы, и должен был отправиться в тайное убежище в деревню; но как-то утром раздался стук в мою дверь, и вот вам целая компания: французский комиссар полиции со своими подручными и два типа из гестапо. Я не люблю рассказывать эту историю, здесь не место таким подробностям. Они нас избили. Меня французы оставили у себя. А этот бедный тип — никто не знает, что с ним стало. Должно быть, он сидел в вагоне для скота, готовом к отправке в Германию и забытом на запасном пути возле Бротто с запертыми замками на дверях; доносившийся из него шум постепенно затих на пятый или

шестой день. А я отделался шестью месяцами тюрьмы за недоношительство на жильца.

В тюремном дворе я и встретил на сей раз Эмиля. Во время прогулки. Если можно назвать это прогулкой. Колодец, огороженный высокими черными стенами, и мы ходим по кругу один за другим, без права разговаривать, на значительном расстоянии, двор — десять на восемь метров. Он шел позади меня, я его не видел. Вдруг я услышал шепот: «Эй, мсье Жюлеп, мсье Жюлеп...» Никакого сомнения — это был Эмиль. Не очень-то много могли мы сказать друг другу. Надо обойти вокруг двора, пока получишь ответ на вопрос.

— Что известно об Ивонне?

— Она в лагере. Не так уж плохо.

— А Розетта?

Ответ пришел не скоро. Мы кружили по двору. Надзиратель смотрел в нашу сторону. Наконец изменившийся голос Эмиля:

— В Силезии... с января месяца... никаких известий...

Меня это потрясло. В камере я все время думал о Розетте. В Силезии. Где же? В соляных копах, что ли? Эта девочка... Я видел ее такой, как в первый раз на Зимнем велодроме, совсем девчонкой... Свояк, Ивонна, Розетта... Пострадала вся семья, они не берегли себя. Теперь уж их не ждет ничего хорошего. Со мной вместе сидел тип, промышлявший на черном рынке, и карманный воришка, они косо смотрели на меня, потому что я «политический», вот до чего дошло, это я-то политический...

В другой раз я был дежурным по параше и вышел в коридор. Мимо меня прошел Эмиль и шепнул: «Какое у вас имя, мсье Жюлеп?» Что за странный вопрос, я едва успел ему ответить. Когда я снова увидел его на прогулке, я спросил:

— Что же сделала Розетта?

Он ответил:

— Выполнила свой долг...

Тип с черного рынка говорил, что с нами плохо обращаются потому, что в этой тюрьме полно коммунистов и это бросает тень на всех прочих. И косился в мою сторону. Я объяснил ему, что я совсем не коммунист и даже не голлист...

— Однако вы же политический,— ответил он.— Значит, вы должны выбрать...

Вскоре вечером в нашем зверинце поднялся тарарам. Хлопали двери, слышался топот ног туда-сюда... Мы трое переглядывались в смутной тревоге. Что там происходит? Потом шаги в нашем коридоре, звук ключа в замке. Было уже совсем темно. Дверь распахнулась. Лампа в руке надзирателя, рядом второй надзиратель, а позади трое заключенных, как будто дают им приказания. Голос Эмиля:

— Вон тот, в глубине... Вандермелен...

И надзиратель говорит:

— Вандермелен, выходите.

Что это такое? Бунт? Эмиль объяснил: «коллективный побег». Мои сокамерники обрадовались, но их толкнули обратно в камеру: только политические... Как они обозлились!

Никогда я не видел такой прекрасной организации. Начальник тюрьмы вел себя как послушный мальчик, часть надзирателей перешла на сторону заключенных, другие были связаны веревками. Восставшие заменили полицию. Они проверяли списки вместе с начальником. Эмиль говорил: «Выпускать только патриотов»... Он и меня считал патриотом. И должен сказать, я этим гордился.

Не буду подробно рассказывать дальнейшее; ночной грузовик, ужасное происшествие под железнодорожным мостом, приезд в горную деревню, славные люди, спрятавшие нас, принесшие нам одежду, необыкновенная доброта всех жителей. Я все же никогда не думал, что в нашей стране так много самоотверженности, так много смелых людей. Не нахожу для них других слов... смелые люди... Эмиля уже не было с нами. Нас разбросали маленькими группами. Со мной был адвокат из Клермона, два голлиста, с одним из них я был знаком, мой коллега и крестьянин из департамента Дром. Нас сбежало восемьдесят человек, можете себе представить?!

И вот меня уже зовут не Вандермелен, и даже не Жюлеп. У меня бумаги на имя Жака Дени. Настоящие, хорошо составленные бумаги, не такие, как те, что спекулянты продали злосчаст-

ному еврею, которого я приютил. Мои спутники спросили, есть ли у меня к кому пойти. Сначала я ответил нет. Затем, когда они предложили: «Тогда идем с нами», я спросил: «Куда?» — «Куда же еще — в макизары...» Признаюсь, мне это не улыбалось. Летом еще куда ни шло, но лето уже близилось к концу. Маки. Я не представлял себя в маки.

С тем, чем меня снабдили люди в деревне, я мог добраться до М., где мои друзья У. (не хочу их компрометировать) жили в красивом маленьком замке. Они дали мне время осмотреться. Конечно, они не очень обрадовались, увидев меня. Но вели себя корректно. Поль У. никак не мог успокоиться; он задавал мне кучу вопросов. Больше всего его тревожило, что нас так хорошо приняли в деревне.

— Так, значит,— говорил он,— в этой маленькой, заброшенной в горах деревушке они теперь все коммунисты?

— Почему коммунисты? Ничуть не бывало. Просто добрые люди. У них там комитет Национального фронта...

Но это не успокаивало Поля У.

— Меня пугает,— говорил он,— какие все это принимает размеры...

Я отмалчивался, а про себя решил, что долго у них не задержусь. То, что его пугает, видите ли, вовсе не боши, хотя из его окон видно, как они едут с пулеметами по дороге, чтобы преследовать непокорных на плоскогорье Л., где, говорят, они скрываются. Нет.

Перебираясь из деревни в деревню, я спустился в город. Мне помогли друзья, а потом я отыскал Протопопова, того самого Протопопова, сына генерала, фотографа нашей газеты, с которым я был когда-то у Эмиля. Можете себе представить, он был вне себя, просто вне себя. Он надеялся только на Сталина. Говорил, что его отец был круглым идиотом и ни черта не понимал, а себя считал несчастным, потому что он не в России и не может сражаться с Красной Армией за свою родину. Как бы то ни было, я не знал, чем именно он занимается, но он служил в большом иллюстрированном еженедельнике и доставал мне работу с построчной оплатой, вроде подписей к фотографиям; их главный редактор, видимо, приличный человек. Мне не надо

там появляться, я подписываюсь Одетта де Люсон. Никто не догадается, что под таким именем скрывается Жюлеп. На жизнь мне хватает.

Городок, где я живу, небольшой. Сначала я ни с кем не разговаривал. Теперь часто встречаюсь с кюре. Горячая голова — этот кюре. У него собираются для тайных переговоров люди с военной выправкой. Он организовал женскую мастерскую, где местные жительницы из мелкой буржуазии и даже работницы (тут есть маленькая лимонадная фабрика) заняты какой-то неведомой работой, но все понимают какой. Что, если б сказать об этом в 1940 году! А теперь такой стала вся страна. Я хожу слушать радио к мяснику. Вот вам еще один чудак. Он выдает мясо куче каких-то беженцев, не имеющих карточек. Всем известно, что доктор лечит людей из близлежащего маки. Недавно у них был раненый. В городке с виду все спокойно, но если присмотреться поближе... К мяснику нередко приходят люди, очень похожие на тех, кого под большим секретом принимает кюре. Все они говорят более или менее так же, как Эмиль. Кто они, я не знаю. Они обсуждают войну, которая еле движется в Италии, у них есть сведения о том, что происходит в Виши, они вкалывают булавки в карту русского фронта.

В соседнем городке 20 сентября, в годовщину битвы при Вальми, вспыхнула забастовка. Боши схватили триста рабочих и увезли неизвестно куда. Кюре спрятал забастовщика, проскользнувшего у них между пальцами. Его собирались устроить на ферму. А он сказал, что хочет лучше уйти к франтирерам. Просто поразительно, они словно взбесились, эти люди. Начинаешь гордиться, что ты француз.

На нашем городке лежит лишь одна мрачная тень. Это тот тип, что живет на выходе из города в своем желтом доме. Говорят, когда в 1940 году сюда пришли немцы, он встретил их с распростертыми объятиями, водил в деревню за продовольствием, пил с ними вино... Короче говоря, его здесь не любят. Особенно с тех пор, как его семилетний племянник, играя с сыном мясника, сказал:

— А я, когда вырасту большой, буду, как дядя, полицаем...

Буду зарабатывать, как он, сто пятьдесят франков в день и ничего не делать.

Об этом типе и раньше поговаривали. Вероятно, он не один такой. Однако относительно других люди не были уверены. А этому время от времени кто-то посылает по почте маленький гробик, и все исподтишка потешаются над ним.

Однажды мы с Протопоповым отправились в лагерь «Сочувствующих» недалеко от Гренобля, чтобы написать о нем репортаж. Становилось уже жарко. Ехали четыре часа на машине. Очень красивое место. Деревья с рыжей листвой... Впрочем, описание не имеет значения. Итак, пока начальники заставляли маршировать свои отряды, идти колонной, строиться, перестраиваться, смыкать ряды, размыкать ряды (все это мы видели сотни раз), у входа в лагерь остановились два грузовика, и из них в полном порядке вылезли какие-то вооруженные типы и сразу взяли нас на мушку. Их было человек двадцать, а нас полторы сотни. Но без оружия. У начальников был совсем дурацкий вид. Ребята из лагеря легко согласились отдать свою одежду, сапоги, все обмундирование. Нас с Протопоповым никто не тронул. То были молодые парни в рабочих куртках и брюках, с обмотками и грубых башмаках. Довольно разношерстные наряды, лишь берет придавал им слегка военизированный вид. Когда один из командиров сказал мне: «А вы что здесь делаете, мсье Жюлеп?» — я, разумеется, вздрогнул. Снова Эмиль! Ну что тут скажешь! Вот он уже стал франтирером. Он настоял на том, чтобы забрали у них велосипед. Надо было видеть, как он его рассматривал, какой у него был довольный вид: «А ну-ка погрузите и эту штуку». Ничто его не изменило, Эмиля. Они исчезли так же внезапно, как и появились.

Когда я вернулся домой, у меня так и чесался язык рассказать обо всем кюре. Удивительно, как быстро меняется моральная атмосфера... Еще недавно я считал бы Эмиля бандитом. Сегодня же, и это не после долгих размышлений, а совсем просто, все изменило свой смысл, приобрело иное значение. И не только для меня. Взять, к примеру, мясника. Или кюре. Да почти все здешние жители, работавшие всю жизнь тихо,

уважая закон, кланяясь мэру. Совсем скромно. Те, что ходили к обедне, и те, что лопали мясо в страстную пятницу. Хозяин лимонадной фабрики, у которого двух сыновей отправили в Германию, потому что в то время все были еще неорганизованы, теперь делает все что может, чтобы не дать увезти туда своих рабочих. Жены доктора и нотариуса. Я рассказал мяснику историю свояка Эмиля, которого растоптали боши. А он меня спросил:

— Скажите-ка мне, маршал Тито... правду говорят, что он коммунист?— Это его коробит. Я не решаюсь ему сказать, что сам я, когда бежал из тюрьмы, не спрашивал, кто помог мне удрать.

Вскоре после 11 ноября они окружили наше местечко. Боши. Рано утром, перед самым рассветом. Рассказывают, что они побывали в мэрии, а еще до того люди видели, как они постучали в дверь желтого дома и в мэрию их отвел полицей. Мне повезло, они не зашли в дом, где я снимаю комнату у почтовой барышни. Впрочем, чем я рисковал? Бумаги у меня в порядке... Они увели двадцать молодых людей, один из них, девятнадцати лет, попытался сбежать, и они убили его позади церкви. Самое ужасное, как они забирали кюре, бедного старенького кюре. Рассказывали, что они выбросили его за дверь, били прикладами, он несколько раз падал и повторял: «Отче наш, да святится имя твое, да приидет царствие твое...» Говорят, что полицей был там, когда кюре кинули в фургон, и крикнул: «Прощай, грязный коммунист». Теперь так называют даже кюре... Весь городок кипит от гнева на того типа из желтого дома. Уж я-то не буду огорчен, если с ним стряется несчастье. Говорят, вернее, мне сказал мясник, что все это из-за того, что недалеко от нас находился лагерь макизаров. Пришлось срочно перебросить его подальше. Предупредил их старик кюре. Доктор должен знать, куда они скрылись. А пока у нас здесь полным-полно шпииков. Ночью по улицам кружат мотоциклы. В отеле для путешественников и в ресторане «Бурийон» появилось много разных чужаков. Некоторых ловили на том, что они подслушивают у дверей. Раньше отовсюду гремело английское радио, теперь его слушают только втихаря. Кто-то послал

донос на доктора и его жену. К ним явилось гестапо, но пока что их не забрали, надо думать, для того, чтобы проследить, с кем они встречаются. В городе время от времени что-нибудь взрывается: кафе, витрина конторы немецкого управления, бомба в «Синема-паласе»... За неделю три раза была повреждена железная дорога. Глупо, конечно, но мне всякий раз кажется, что все это дело рук Эмиля. Увижу ли я снова Эмиля? А что с его сестрой? Теперь я чуть-чуть постарел и упрекаю себя, что был дураком, мне надо было жениться на Ивонне, она такая стойкая маленькая француженка с красивыми глазами. Мы, может, были бы счастливы с ней... Я, может, вообще ошибался, не понимал смысла жизни. Теперь уже не вернешься назад... Каким же я был эгоистом...

В нашем крае начался террор. Боши патрулируют город. Все ждут налета на лимонадную фабрику. Мужа нашей служанки наметили к высылке в Германию, ее боши имеют наглость называть «пополнением». Он собирается наложить на ногу гипс и достать медицинскую справку... По-моему, он не прав. Уж лучше уйти в маки. Лучше быть солдатом, чем дезертиром.

Я снова увидел Эмиля. Но только во сне. В каком-то городе, но не в Гренобле и не в Париже. Большая пустая улица, зимняя, печальная. Немцев не видно, однако они тут, за голыми деревьями, в черных проемах дверей... Я несу маленький чемоданчик и тороплюсь... Я не знаю — то ли я, то ли поезд опаздывает на четыре часа. И вдруг раздаются выстрелы, и люди, только присутствовавшие тут, но ничего не делавшие, падают. Вот это и еще рассказанная мне темная история об арестанте, на которого спустили собак, подвесив его за запястья... Все это смешалось. И тут передо мной появился Эмиль. Он был на великолепном никелированном велосипеде. Таким, какие бывают в мюзик-холле, у акробатов. Я знаю, что это тот, который он взял в лагере «Сочувствующих». Он проехал мимо меня и сказал: «Здравствуйте, мсье Жюлеп...» Вдруг я почувствовал, что позади меня что-то происходит. Там стоял человек из желтого дома — полицейай. Он целился в Эмиля. Я хотел кричать. Голос застрял у меня в горле. Но первым

выстрелил Эмиль, и полицейский упал на мостовую, а кровь его текла, текла...

Я вскочил со сна, испугавшись самого себя. Неужели я в самом деле желал смерти человеку? Говорят, это он донес на кюре, направил немцев в лагерь франтиреров... Быть может, я ошибался в оценке всей окружающей меня жизни. Я представил себе Розетту, ее нежное лицо с веснушками на каторге в Силезии. Какими стали ее руки, ее волосы? Скоро зима. Ей, должно быть, холодно, ужасно холодно. А тяжелая усталость день за днем... Об этом невыносимо думать. С каждым днем невыносимее.

Я был в городе. В автобусе стоял человек из желтого дома. Хорошо одетый. Все на нем нагло сверкало новизной... Ботинки, пальто, перчатки из светлой кожи. Автобус был переполнен. Если бы ему воткнули в сердце нож, этому полицейскому, он остался бы стоять, зажатый соседями. Страшно подумать, что есть французы, которые предают других французов бошам. В Гренобле, в Клермон-Ферране боши начали убивать тех, кого называют своими заложниками. В их газетах печатают большие объявления: «Полицейские, берите на заметку подозрительных людей».

Теперь я больше не встречаю Эмиля. Но повсюду встречаю полицейского. Не знаю почему, но раньше его у нас так часто не видели. Он ехал в одном поезде со мной из Лиона. Я встретил его у часовщика, когда носил в починку свой будильник. В другой раз за городом... возле той маленькой деревни, где стоит большая фабрика с синими окнами... Я вышел прогуляться. И мы столкнулись нос к носу. А вокруг нас пустая равнина. Безлюдные поля. У меня не было оружия, вот в чем дело, у меня не было оружия.

Мясник ходил в караул на железную дорогу за пятнадцать километров от городка. Он рассказал мне, что теперь, когда боши делают обход, им помогают французы.

Если бы я знал, где сейчас Эмиль, я пошел бы спросить у него совета. Все происходит так, будто Эмиль появлялся в моей жизни, чтобы дать ей нужное направление. А может, они его убили? За это время я немало поездил. Был в Тулузе, в Марсе-

ле. Втайне я надеялся вновь встретить Эмиля. Не появится ли он вдруг на перроне вокзала или на безлюдной улочке? Нет. Никого.

Маршал Тито продолжает беспокоить мясника. В конце концов он меня бесит, этот мясник. Какое ему дело, кто такой Тито, ведь он воюет с Гитлером! Я подумал об этом и даже вздрогнул, мне показалось, что я снова слышу голос Эмиля: «Он в Испании, воюет с Гитлером...» Тогда я был вроде этого мясника, даже хуже. Я не понимал, что Эмиль хочет сказать своим «воюет с Гитлером», меня удивило произношение Эмиля, а не смысл его слов.

А Ивонна с голубыми глазами... Она в лагере... не так уж плохо, в общем, не так уж плохо... Сейчас у нас декабрь. Скоро будет рождество. Как там дети Розетты, у дедушки с бабушкой, будет ли у них елка? Сколько им лет? Старшему мальчику, должно быть, десять... а младшей, постойте, младшая родилась, когда...

Эту страшную зиму невозможно переносить... Я больше не слушаю радио, это тянется слишком долго и почти не приносит изменений... Весь прошлый год, даже еще три месяца назад, я все ждал пресловутой высадки. Рано или поздно эта высадка произойдет. Но теперь мне кажется, что это не самое важное. Разве свояк Эмиля, или Ивонна, или Розетта дожидались высадки? Надо самим вмешиваться в эти дела. Нельзя давать всему этому продолжаться и ни во что не вмешиваться. Надо оружие, если бы у нас было оружие! В тот день на дороге, когда я увидел человека из желтого дома... Да! Оружие...

Каждое утро мне приносят газету «Пти дофинуа» и кладут возле двери, вернее, между открытой летней дверью с металлической сеткой от мух и моей дверью, запертой на ключ. Ее подбирает моя квартирная хозяйка и приносит мне вместе с завтраком. Теперь газета стала совсем маленькой и выходит только три раза в неделю, а в те дни, когда были беспорядки в Гренобле, ее несколько раз и вовсе не приносили. Тогда там убили двух журналистов. Так как я теперь не слушаю радио или слушаю нерегулярно, то по утрам с некоторым любопытством просматриваю этот нелепый листок с его вишистским враньем.

Когда я глотал свой так называемый кофе, мне бросилось в глаза большое объявление. Опять, черт побери! Коммюнике германского военного коменданта Южной Франции. Предупреждение. Три смертных казни... Вооруженное нападение на вермахт и урон, нанесенный вермахту... они обучали бунтовщиков, как обращаться с оружием и применять его против вермахта... а когда вермахт их окружил, они оказали сопротивление вермахту. Три террориста, сказали господа из вермахта. Три террориста, и они называли их имена: один был студент с веселым, солнечным именем, второй тоже студент, а третий — рабочий-металлист Эмиль Дорен из Парижа...

Эмиль... Эмиль Дорен... из Парижа...

Оружие... оружие... пусть мне дадут оружие. Ведь я был лейтенантом. Великий боже, лейтенантом французской армии. Я тоже могу обучать бунтовщиков, как обращаться с оружием. И пускать его в ход против вермахта. Против вермахта. Здешний доктор связан с вернувшимся на днях лагерем, говорят, он в пяти километрах от нашего городка. Доктор мне скажет... Эмиль... Нанести урон вермахту... и его проклятым полициям. Я лейтенант Вандермелен, а не этот слизняк Жак Дени и не эгоист Жюлеп. Эмиль... Лейтенанту Вандермелену наплевать, кто такие франтиреры, он примкнет к ним сегодня или завтра на холмах, что скоро покроются снегом.

Пусть какой-нибудь маршал Тито верит в бога или в черта, лишь бы он боролся против Гитлера, против Гитлера — вот и все.

Дорогой мой Эмиль. Именно сегодня. Я встретил тебя навсегда, Эмиль.

Сегодня лейтенант Пьер Вандермелен вновь начинает жить. Нельзя предавать товарищей.

И когда один падает, десять других должны стать на его место.

Наседка

— Ну, будешь говорить?

Они били его — били долго, неотвязно. Эти двое своих кулаков не жалели. На его спину и бедра страшно было смотреть. Инспектор Беллем вздохнул: ну прямо скоты, а не люди. Ничего не чувствуют, честное слово. Ведь он так ничего и не вытянул из этого негодяя. Начальство еще, чего доброго, решит, что инспектор не умеет работать...

— Убирайтесь! — сказал он уныло.

Арестанту швырнули одежду. Пришлось его даже поддерживать, чтобы он не упал, пока одевался; все это было не слишком-то аппетитно, можете мне поверить.

— Хоть нос затыкай! — жаловался в тот день инспектор одному из своих коллег, сидя в кафе и потягивая сок с сахарином — пойло, которое только и можно получить в четверг, если ты пива не любишь.

Коллега покачал головой:

— При такой работе все же следовало бы нам выпивку выдавать — для подъема духа...

Камера была, прямо сказать, невелика. Уже, наверно, вечерело. Свет в зарешеченном окошке под самым потолком угасал. Скоро, должно быть, совсем стемнеет. Он скосил глаза к параше. Разве до нее доползешь? А крышку как поднять — зубами? Руки в наручниках за спиной — не расстегнешься, а когда все тело в ранах и ссадинах, ходить под себя — хуже некуда. Тюрьма набита до отказа, но для него сделали исключение: он был в камере один. Впрочем, именно это обстоятельство его и утешало немного — ничего он так не боялся, как сидеть вместе с уголовниками... и с наседкой. Он опасался, что к нему подсадят наседку, — это было у него как наваждение.

Он ворочался на зловонном соломенном тюфяке, не зная, как лучше пристроить наболевшее тело: через одну-две минуты боль опять становилась невыносимой. Там, где кожа от побоев не пострадала, она сильно зудела; от летнего зноя и спертого воздуха зуд делался еще мучительнее. Тюфяк прогнил, весь кишел паразитами, по камере полчищами носились мухи, сажались на свою жертву — жертва только вздрагивала.

Арестанта преследовало воспоминание о майских жуках, которых в эту весну было в пригороде особенно много. Тяжелые, толстые жуки, упав на спину, никак не могли перевернуться и отчаянно болтали в воздухе ножками. Теперь наступил его черед стать майским жуком. Как была хороша весна! Как славно пахли деревья!.. И каково об этом вспоминать здесь, в камере...

Но страшнее всего был в камере даже не запах — страшнее была солома. Мельчайшие ее частички липли к одежде, забивались между одеждой и телом, от нее невозможно было избавиться, невозможно вытрясти, выбить... Вот ведь чудно: ты весь покрыт язвами, все тело так и гудит от боли, а больше всего тебе досаждают солома. Кругом чудовищно грязно, воздух просто вдохнуть невозможно, а тебя сильнее и грязи и вони донимает это желтое крошево, этот тонкий, как пыль, порошок, что лежит вокруг отвратительным тюремным налетом...

«Я ничего не сказал...» Он все время твердил эту фразу, она немного подбадривала его. Из распухшей губы сочилась кровь. Исчерпав все аргументы, инспектор ткнул его кулаком в лицо. Арестант трогал языком сломанный зуб — край зуба был острый и соленый на вкус.

«Я ничего не сказал...»

Время от времени надзиратель отворял дверь, чтобы пролаять всего одно слово, точно с китайцем говорил: «Хлеб», или: «Почта», или: «Молчать!..» Потому что порой в приступе ярости арестант начинал колотить кулаками в тяжелую дверь... Это было еще до того, как его так страшно избили... Ему было нужно, любой ценой было нужно кого-нибудь, неважно кого, пусть даже это пепельно-серое лицо с курносом носом, — было нужно кого-то услышать, услышать пусть даже хоть это

слово, которое вылетало из серого лица, как пыль из тюфяка: «Молчать!..» Теперь он в наручниках. Теперь ему еще тяжелей. «Молчать!..» — «Я ничего не сказал...»

«Почта...» Но для его камеры почты не полагалось.

«Хлеб...» На полу и вправду валялась половина ломтя, и даже стояла в кружке вода, но добраться до них было так же нелепо, как доползти до параша. Вывернув шею, арестант прикидывал, как ему дотянуться до кружки, чтобы не опрокинуть ее и хотя бы смочить в воде пересохшие губы. Надо было дожить до утра, когда надзиратель отворит дверь. А сейчас была ночь. Но именно в эти часы тюрьма оживала.

Начинали разговаривать на своем непонятном языке все стены, со всех сторон доносились глухие удары и стуки, то размеренные, то торопливые, всевозможные комбинации коротких и долгих ударов — азбука, которую ему давно следовало изучить. Через все здание передавались с одного конца на другой вопросы, ответы. Этот вечерний час становился для скованного человека ежедневной пыткой, когда он изнемогал от бессилия и надежды. Обитатель соседней камеры с величайшим терпением повторял один и тот же сигнал, должно быть надеясь, что кто-то в конце концов ответит ему. Арестант пытался воспроизвести этот призыв, в точности повторить его ударами головы о стену. Но он не знал секрета этого языка. Дальше простого повторения он пойти не сумел. Впрочем, в нынешний вечер он был слишком слаб и для такого сигнала, который мог бы сообщить незнакомому другу, что он еще жив. Многоголосый концерт, шедший из всех камер, отдавался болезненным звоном в распухшей голове. Было что-то нелепое в том упорном внимании, с каким этот несчастный ловил непонятные ему звуки. Он, пожалуй, и сам не мог бы сказать, чего ему больше хотелось — чтобы все замолчало вокруг или чтобы переговоры узников налили огушительной силой и сотрясли тюремные стены. Подобно человеку, на которого неожиданно напялили наушники радииста и который, не зная азбуки Морзе, слышит сигналы бедствия с далекого корабля, он скрежетал зубами, закрывал глаза, но не в силах был заткнуть себе уши. У него наверняка был жар. Будь жар посильнее, его, может

быть, перевели бы в больницу. Впрочем, рассчитывать на больницу не приходилось. Ничего, скажут ему, от такого жара не умирают! В ушах звенели колокола. И по-прежнему раздавались глухие удары в стену, упорные, настойчивые. Господи, о чем они могут так долго рассказывать? Ночь давила своей духотой. «Я ничего не сказал... я ничего не сказал...» По нему с жужжаньем ползали тяжеленные мухи. Когда они доползали до затылка, человек вздрагивал, точно конь в упряжке. Внизу живота нестерпимо зудело. Он попробовал почесать это место, ерзая по тюфяку, но его пронзила боль в пояснице. Жар. «Я ничего не сказал...» Но волшебная фраза утратила свою целительную силу. Она прокручивалась теперь в мозгу механически, от нее уже не было никакой пользы. «Я ничего...» Под закрытыми веками мерцали цветные сполохи, фосфоресцируя и угасая; пробежали неясные тени. Чье-то лицо, выражение чьих-то губ, обжегшие глаза... А может, то был пейзаж вдалеке, под затянутым свинцовыми тучами грозовым небом... И — птичий двор, куры, наседки... Сон упал на него, как сеть на добычу.

Он проснулся от непонятного шума и от вспыхнувшей следом боли. Вокруг по-прежнему было темно. Но на уровне его взгляда что-то двигалось, шарил по камере луч зыбкого света — наверно, от карманного фонарика надзирателя. Упал в темноту конец нерасслышанной фразы, хлопнула дверь. В камере кто-то остался! Человек понял, что мимо прошел кто-то в брюках. Незнакомый возился где-то рядом. Топтался, даже споткнулся. За что задел он ногой? Было слышно дыхание. «Да что здесь такое?» Кто из них двоих сказал: «Да что здесь такое?»

Они не спешили знакомиться. Когда старожил понял, что ему дали товарища, он сразу изготавился к обороне.

Наседка. Это, конечно, наседка. Несомненно, наседка. «Я ему ничего не скажу», — подумал он, и все его раны дружно подтвердили это решение. Он застонал. Другой отозвался:

— Не будем унывать. У вас тут даже довольно мило! Разрешите представиться — Голье, Жозеф Голье...

Да, забавно, ничего не скажешь. Каков он собой — высокий или низкий, худой или толстый? Одно несомненно: это наседка.

Но пришел он, конечно, кстати: теперь будет проще сладить с парашей. Да и с водой тоже! Новичок нащупал кружку, дал напиться.

— Да у вас жар, старина...

Было странно — в темноте только руки, без лица.

Что они подумали утром, когда разглядели друг друга? Гнусная камера в грязном свете начинавшегося дня, лежащее в нечистотах тело, скованные за спиной руки — перед вновь прибывшим раскрылась вся бездна постигшего обоих несчастья. Первый узник чуть приподнялся на боку и взглянул на чужака, на эту наседку. Невзрачного вида субъект, на тощей фигуре болтается широкое, не по размеру белье, глаза чудные... Крыса какая-то... Да, впечатление он производил неважное. А новичок глядел на человека, лежавшего на тюфяке, и у него дрожали губы. Спать ему пришлось на полу.

— Они вас били? — спросил он.

— Похоже! — отвечал тот.

Они не успели привыкнуть друг к другу, как дверь опять отворилась и к ним втокнули третьего постояльца — верзилу огромного роста с черной копной лохматых волос, распадавшихся посередине лба на прямой пробор. На сей раз оба подумали об одном и том же. Вот этот наверняка был наседкой.

Так или иначе, их было уже трое, трое в этом зловонии, трое в этом скудном пространстве, где и одному-то достаточно тесно; спать им теперь приходилось по очереди, причем у первого узника, израненного, избитого, да еще в наручниках, оспаривать право на тюфяк было трудно. Жозеф Голье оказался самым разговорчивым из троих. Первый лежал, стиснув зубы, и нельзя было понять, молчит ли он потому, что ему плохо, или он скорее откусит себе язык, чем произнесет хоть слово. Верзила сказал, что его фамилия Дюпоншель и что он попал сюда по ошибке. Мухи казались счастливыми оттого, что в хлеву теперь было уже трое животных.

— Ох и воняет же здесь, — говорил Жозеф, — просто поверить нельзя, что так может вонять!

По ошибке? По какой же это ошибке? Если ты патриот, об ошибках говорить не приходится.

В подобных местах теряешь счет дням и ночам. Тарелка горячей воды, которую суют тебе и называют супом, порция хлеба, которую надо растягивать на двое суток, наряд по уборке параша — этого все-таки мало, чтобы заполнить как следует время. Понемногу завязывалась беседа. С оглядкой, конечно, потому что все они помнили про наседку. Жозеф был электромонтером, Дюпоншель — приказчиком у мясника. Про первого жильца они не узнали и этого — уж слишком скупое цедил он слова. Судя по манере разговаривать, он был из интеллигентов. Правда, очень уж трудно было вообразить, чтобы этот жалкий тип, избитый, усиженный мухами, мог за стенами тюрьмы что-нибудь собой представлять. Это был мужчина лет сорока, светлый шатен, с тонкими губами и толстой шеей. Лицо у него заросло щетиной самых разных мастей. В то утро с него сняли наручники. На какое-то время тюремщики, видно, отказались от мысли что-либо у него выведать.

Отказались не только тюремщики — отказались и Жозеф с Дюпоншелем. Растирая затекшие запястья, он упрямо твердил: — Я ничего не сказал... ничего им не сказал...

Больше они от него ничего не добились, разве только что зовут его Андре Менар.

Все трое говорили, что они политические. Может быть, для того, чтобы меньше опасаться друг друга. Но разве в таких делах докопаешься толком до правды?..

Дюпоншель, как попал в камеру, тут же заявил:

— Дорого бы я дал, чтобы узнать, что они сделали с майором Арно!

Голье тоже не вчера родился: у него в организации было известно, что майор Арно, схваченный тремя неделями раньше, возглавлял руководство подпольной армией в этом районе. С туповатым видом Голье стал расспрашивать Дюпоншеля. А третий и ухом не повел — ему и без того забот хватало, с его болячками. Чертова наседка! До чего примитивно работает!

Голье разговаривал с первым узником предупредительно и мягко. А вот верзила не церемонился — пер напролом. Да, хорошо бы знать, к каким организациям принадлежат твои сосе-

ди... Всякими хитроумными уловками Жозеф пытался вывести правду. Но рядом все время была насадка. А может, это как раз и есть сам Жозеф?..

— Хотя бы они поскорее назначили мне казенного адвоката,— сказал он однажды.— Теперь, когда самому выбирать уже не дают...

И как раз на другой день Дюпоншеля вызвал его адвокат.

— Повезло тебе!

— Так ведь я тоже его не выбирал!— ответил Дюпоншель.

Оставшись с Менаром вдвоем, Жозеф доверительно сказал:

— Парень хитер... Все время намекает, что он в партии...

Хочет в доверие втереться...

Менар ничего не ответил на это. Он думал о том, что верзила Дюпоншель и был скорее всего насадкой, но Жозеф... Быть может, и он что-то вынюхивает...

— Мой адвокат со мной встретиться не мог,— сказал Менар.— Я в одиночке сидел.

Очко в пользу Жозефа: он не стал больше ни о чем расспрашивать.

Так или иначе, был верзила насадкой или не был, но спустя несколько дней он сдал. Вообще-то с парнями его комплекции такое бывает: на вид здоровяк и вдруг — с копыт долой! Видно, в этом дворце распорядок дня ему не подошел. У него болел живот, и он единолично захватил в камере место общего пользования. Жозеф не переставая острил по этому поводу. Почему бы не посмеяться!

От врача, к которому Дюпоншель отправился на прием, он вернулся в большой досаде. К врачу можно было попасть не чаще чем раз в три дня: в тюрьме из тысячи двухсот заключенных добрая тысяча была больна. Менару ходить к врачу было не под силу, и Дюпоншель осмелился попросить врача прийти к ним в камеру, на что тот ответил, что не намерен являться с личным визитом ко всякому, кого избили чуть сильнее обычного, иначе этой каши ему за всю жизнь не расхлебать.

Жозефа тоже стал мучить зуд; жить втроем на этом пятачке было с каждым днем все труднее; от жары, духоты и зловония по утрам с ними случались обмороки.

Когда Дюпоншеля еще раз вызвали к адвокату, Жозеф ска-
за: кто, мол, приводит слишком много доказательств, тот ниче-
го никогда не докажет. К чему такое усердие? Хочет привлечь
к их камере внимание? Но зачем? Врачи, адвокаты... стукачи
они все!.. Он повторил потом то же самое и Дюпоншелю, насед-
ке, когда тот, возвратившись в камеру, сообщил, очень гор-
дый собой, что он рассказал своему защитнику о гнусных усло-
виях, в которых содержатся заключенные, и защитник проявил
сочувствие к его судьбе.

— Своему защитнику! Да ты совсем спятил! Ты еще свою
кормилицу сюда пригласи!

Эх, если бы им хотя бы передачи получать разрешили! Они
подышали с голоду, а чего бы они не отдали за щепотку табака!
В первые дни Менар получил одну посылку, но это было уже
давно...

— Мы имеем на это право,— говорил Дюпоншель.

— Имеем право!— взорвался Жозеф.— Нет, я сейчас лопну
от смеха! Имеем право, не имеем права... Дадут тебе передачу —
ты им скажешь спасибо, и все дела!

Они и впрямь подышали с голоду. Да еще эта проклятушая
солома везде, к чему ни притронуся.

Однажды дверь отворилась в неурочный час, и надзиратель,
не тот, курносый, а другой, с лицом цвета брюквы, шагнул в
камеру,— инспекторская проверка?— и за ним следом ввалился
детина, длинный и тощий, который постоянно чесал себе
нос. От этого визита добра никто не ждал. Как же они были
удивлены, когда длинный детина вдруг дико взъярился,— они
даже не поняли, что его так разозлило, и надзиратель тоже
ничего не понимал. А детина взял руку Жозефа, раздвинул
пальцы.

— Да у него чесотка... И у этого тоже...

Дюпоншель оторопел и все порывался объяснить, что у него
вовсе не чесотка, а с животом расстройство...

— А я вам говорю — чесотка!

Ну ладно, пусть будет чесотка, если ему так приятнее. А док-
тор — это в самом деле был доктор — наклонился над третьим
преступником, согнал с него мух.

— Стыд и срам,— сказал он, с силой напирая на «с» в обоих словах,— стыд и срам!

Жозефа это заявление поразило больше всего. Надзиратель попытался было вякнуть, что от этих мерзавцев вонючих никак не добьешься, чтобы они чистоту соблюдали.

О-ля-ля! Ну и дал же доктор этой брюквенной роже нахлобучку!

— Молчите! Стыд и срам! Французов! Так содержать французов!

Раздраженные голоса удалялись по коридору. А Жозеф в камере повторял:

— Стыд и срам! Стыд и срам!

В тот же день всех троих посадили вместе с жандармом в старую, разболтанную машину и повезли в расположенную на холме больницу: тюремный госпиталь был забит уже полностью, и теперь для нужд тюрьмы приспособили частную клинику. Странное их охватило чувство, когда их везли из тюрьмы в больницу, везли через весь город, затаившийся и настороженный, где еще так недавно они жили на воле и участвовали в борьбе, которая продолжалась ныне без них.

Больница была не слишком современная, с большими палатами и низкими потолками. До войны здесь лечили рабочих с больших заводов, больница была связана с ведомством социального обеспечения. Теперь, когда ее передали тюрьме, она представляла собой любопытную картину: среди сестер и санитарок всюду торчали надзиратели; в палатах всю ночь напролет горели синие лампочки, и больные порой просыпались только лишь для того, чтобы после мрака тюрьмы полюбоваться этим слабым мерцанием.

Тот же врач, что определил их сюда, наведаясь к ним в палату. Их койки стояли рядом, и Жозеф еще теснее сошелся с мсье (как он теперь называл Менара), но мсье по-прежнему был немногословен. И оба остерегались наседки. Тем более что Дюпоншель как-то спросил:

— Скажи-ка, Жозеф, ты ничего не слыхал... про майора Арно? Говорят, его пытали.

Из-за какой-то чесотки держать арестантов в постели — это

было неслыханно. Но когда старшая сестра сказала об этом врачу, тот послал ее ко всем чертям. Отличный мужик, этот врач! Похоже было, что он собирается перевести сюда всю тюрьму. Он устраивал в связи с этим скандал за скандалом... В тюрьме, утверждал он, свирепствует тиф. Кто знает, может, оно так и было... Во всяком случае, все трое находились у него под постоянным наблюдением.

Когда инспектор Беллем захотел еще раз допросить его пациента, доктор — он занимал должность старшего инспектора всего департамента, был, так сказать, префектом по медицинской части — сурово его отчитал:

— Ни под каким видом! Слышите? Кто здесь хозяин — вы или я? — И наговорил ему еще кучу таких же любезностей.

Больные на койках от души веселились. Даже главное заинтересованное лицо улыбнулось. Инспектор Беллем поджал хвост. Он просто не знал, куда деваться от конфуза.

А доктор все не мог успокоиться:

— Я вас от должности отстраню! Так больше продолжаться не может! Стыд и срам! Стыд и срам!

Когда оба ушли, больные настолько забылись, что даже стали обсуждать это с наседкой. А тот знай свое гнет.

— Я все время думаю, — говорит, — что́ они сделали с майором Арно!..

Тут в палате все замолчали. Жозеф делал знаки Менару. А Менар — он теперь уже мог приподниматься на постели — сидит с перебинтованными руками и молча головой качает, словно говоря: «Погоди, вот на волю выйдем, он у нас получит, наседка проклятая!» Тут пришли сестры, стали разносить лекарства.

Но, конечно же, так не могло тянуться долго. Скоро ответят нас, голубчиков, домой, говорит Жозеф, а то на этом курорте путевки больно уж дороги. Жратва, правда, не слишком роскошная, но все-таки капуста и вода горячая, а один раз даже картошку дали! И потом, опять же есть с кем поболтать, палата-то ведь здесь общая, не то что та клетушка на троих, да там и не особенно-то разговоришься: мсье не так воспитан, чтоб с тобой толковать, а другой — он с таким простодушным

видом все время интересуется, не знаешь ли ты такого-рас-сякого майора, да не случилось ли тебе встречаться с таким-то полковником... Ах, дорогая моя! И туалеты здесь не хуже, чем в собственной квартире, с окошком, в которое небо видать. А по дороге в операционную, мне ребята говорили — потому что Жозефу не повезло: в операционную его не возили, — ребята говорили, что там есть окно, так в нем весь город как на ладони... большой город, разделенный рекой, город, о котором днем и ночью мечтаешь, о людях мечтаешь, о домах, о вещах, обо всех делах, которые мы там заваривали, и о тех, что завариваются теперь уже без тебя, хоть по улицам и вышагивают типы в серо-зеленых мундирах, выскакивают из казарм под грохот своих похоронных маршей и ну печатать шаг. Город с людьми, которые остались на воле и в которых живут дерзость, упорство и отвага.

Время от времени вдали раздавались глухие разрывы, и больные привставали на койках и тихо спрашивали друг друга: «Слыхал, как сейчас там рвануло?» Даже надзиратели в дверях один раз... Жозеф собрался уже высказаться на этот счет, но мсье сделал ему большие глаза. И правда! Он совсем забыл про наседку.

Все шло прекрасно. Но как-то утром в больницу нагрянули боши, один в штатском и двое военных; когда военные вытащили свои пушки — а у ворот их ждала машина с шофером, — что тут могли поделаться надзиратели и сестры? Они, конечно, потребовали предъявить им ордер за подписью префекта или какую-нибудь другую бумагу, но немцы предъявили им револьвер и сказали:

— Вот наш ордер!

И тот, что был в штатском, произнес: «Гестапо!» — да таким тоном, словно говорил: «Сезам!» — и он только отмахнулся, когда надзиратели стали грозить, что будут звонить в префектуру. Боши велели выдать им троих заключенных и прошли за сестрой прямо в палату, не обращая внимания на протесты.

Ну-ка, пусть одеваются, да поживей! И когда Голье Жозеф — его выкликнули первым — начал собираться, но, по их мнению, делал это недостаточно проворно, один из солдат ткнул его

рукояткой пистолета в бок. А Дюпоншеля, наседку, они подбодрили хорошим пинком в зад. Но хуже всего они обошлись с мсье:

— Менар Андре, пошевеливайся!

Он еще не мог стоять на ногах, и раны у него, как известно, еще не закрылись. Но фрицам на все наплевать.

Надо было видеть, как они набросились на него. Живей, живей! Больные возмущенно загалдели на своих койках. Немцы пригрозили им револьверами. Больные, конечно, попритихли. Тот, что из гестапо, велел двум другим подхватить мсье под руки и вытащить его из палаты. Всё — под угрозой оружия.

«Плохо наше дело», — подумал Жозеф. И тут же с усмешкой взглянул на наседку. Бедняга тоже хлебнет лиха: немцы не станут особенно разбираться, кто тут насадка, кто нет. Одна из сестер — Жозеф еще раньше заметил, что она по-доброму относится к заключенным, — вытирала платочком глаза; даже надзиратели были возмущены.

Когда выходили из здания больницы, Жозефа будто ослепило: у подножья холма перед ними раскинулся залитый вольным солнцем город... Он был весь точно серебряный, крыши домов сверкали, светлая извилистая река убегала куда-то, точно дорога. Поодаль дымили заводы, большим зеленым пятном раскинулся парк, а на горизонте вырастали сказочными дворцами высокие белые дома; слышался шум трамвая, улицы были полны народа: только что пробило полдень. Ах, там, на воле... На воле — друзья, и они продолжают борьбу...

Весь в своих мыслях, Жозеф не успел поддержать товарища, и тот споткнулся. Гестаповец выругался по-немецки. И тут, к своему великому изумлению, Жозеф услышал, как насадка тихо шепчет мсье:

— Держитесь, держитесь, майор!

Но осмыслить этот странный факт Жозеф не успел. Их торопливо втолкнули в машину. Старая вместительная колымага с буквами WH на номерном знаке. Они втиснулись в нее вместе с четырьмя бошами. Машина рванула с места, описала дугу перед фасадом больницы. Глянь-ка, да ведь мы направо сворачиваем, значит, не в город едем.

И тогда гестаповец с шумом перевел дыхание: «Уф!» — и, нагнувшись к мсье, сказал:

— Надеюсь, майор, вам не было очень больно?

Что все это значит?

А наседка как захохочет:

— Ну и рожа была у тебя, бедный ты мой Жозеф, когда я спрашивал про майора Арно! Ну как, Морис, мои сведения верными оказались? Поначалу я не был уверен, что он и есть майор... Но потом пришел доктор и сказал мне, что это и правда майор... Замечательный парень, этот доктор!

Человек в штатском подтвердил:

— Да, вам всем нужно его благодарить. Отлично провел операцию... Как только к нему пришел от тебя адвокат... Ах да, чуть не забыл, у меня ведь лежит посылочка для тебя... от твоей жены. А ты чего хмуришься, Голье? Того и гляди заплачешь!

Голье, разумеется, плакать не собирался. Но он скреб задумчиво голову. Морис... Морис... Где я видел этого парня?

А майор Арно проговорил:

— Знаете... я им ничего не сказал...

И Жозеф вдруг вспомнил:

— Ну конечно... В тридцать втором году, у прилавка в В. Ты — Пьеро, я узнал тебя!

А Морис ему в ответ:

— Да говорят тебе, что меня Морисом зовут... Вот ведь сколько лет человек в партии, а так тугодумом и остался!

Машина ехала теперь среди полей. Солдат рядом с Жозефом насвистывал «Марсельезу».

— Этого еще не хватало! — вскричал вдруг Морис, изменившись в лице.

И стал ощупывать свои карманы.

— Что такое?

— Трижды идиот! Размазня, ведь я забыл... простить себе не могу!

Все всполошились.

— Да скажи, что случилось!

Но Морис уже снова просветлел.

— Нет! Вот они! Сигареты!

Римские свидания

Женщина эта была далеко не первой молодости, вовсе не красавица, если присмотреться. Лет на восемнадцать — двадцать, наверное, старше его. И все-таки Пьер-Жан* не мог смотреть на нее без смущения. Она была выше его и, наверное, следила за собой, стараясь не располнеть, не поддаваться грузности, от природы свойственной немкам. Ее белокурые локоны были перехвачены широкой, цвета миндаля, лентой, а глаза ее иногда становились похожи на неподвижные, будто пустые, чуть выпуклые глаза статуи. Впечатление это усиливалось при свечах, которые придавали их игре некий отблеск тайны. Что он, в сущности, о ней знал? То, что у нее был муж-англичанин и она сбежала от этого грубияна... Всякий раз, неизменно в минуты прощания — зачем? ведь это их третья встреча, — она оставляла ему крохи своего прошлого и, казалось, делала это потому, что мечтам молодого человека необходимо было давать пищу до следующего свидания. Свое имя — этого пока достаточно — она назвала лишь при второй встрече, когда непременно пожелала повести его на протестантское кладбище. Было это в день поминовения усопших... с юга дул ветер с дождем, порывистый и теплый. Отойдя от старых кипарисов над могилами англичан, куда она принесла цветы, возле пирамиды Цестия, когда они шли вдоль стены Аврелиана, в этом безлюдном месте, заросшем травами, которые осень всегда застает зелеными, будто освеженными влажным дыханием моря, она рассказала ему об оставшемся в Лондоне муже. О том, как недостойно обошелся он с ней, когда она приехала из своей страны юной и исполнен-

* Давид д'Анже, Пьер-Жан (1788—1856) — французский скульптор и медальер.

ной глупой, наверное, сентиментальности... Кстати, вы читали «Страдания юного Вертера»?.. Повсюду здесь, и в этой заброшенной кампанье, разрослись огромные кактусы. Как будто и под небом Рима Египет продолжает возводить свои причудливые сооружения. Этот муж, да всем было известно, что у него любовница, ничтожная женщина, разве не навязывал он ей общества этой дамы?.. Что это, игра сумерек или краска стыда? Румянец на щеках делал ее почти красивой. Если женщина краснеет, трудно не подумать о влюбленности. Пьер-Жан взял ее руку. Она сказала, что ее зовут Каролиной.

Сейчас, с крытой веранды ресторанчика, где они ужинали, видны были между пиниями Яникульского холма и кипарисами Монте-Марио замок святого ангела над желтой змейкой реки и купола церковей — вон там Санта-Мария-ин-Арачели, — а если посмотреть налево, то Палатинский, Квиринальский холмы, и все подернуто легкой, голубоватой туманной дымкой, которую мгновениями еще золотили, как на холсте Клода Лоррена*, последние лучи солнца, пробивающиеся сквозь мощную армаду облаков, и в дымке этой больше не различались человечки, снующие внизу, на улицах отдаленного города, и эта картина заставляла забыть о террасных садах, о всей этой свежей, несмотря на позднюю осень, зелени, об апельсинах, склоняющих деревья к оградкам, о чехольчиках, в которых уже прятались лимоны... о вновь зацветших диких яблонях... вечер сейчас стоял несравненно мягче, ароматнее, чем тогда, на кладбище... И на миг Каролину охватило счастье. Она поддалась своим чувствам. Забыла о том, кто она такая. На своего спутника она смотрела с иронией и нежностью, радуется, нежностью материнской. Как странно! Почему ей было так приятно в обществе этого француза, который, конечно же, на несколько лет старше, чем можно подумать, глядя на его фигурку, довольно крупную голову, взлохмаченные, цвета соломы, волосы, начесанные на виски этого не теряющего ни грана собственного достоинства малыша в узком, бутылочного цвета рединготе, черных сапогах и трижды обмотан-

* Лоррен, Клод (1600—1682) — французский живописец и график.

ном вокруг шеи белом платке, оттеняющем бархатный воротник? Обвислые, редкие усы выдавали в нем совсем не злого человека. Нет сомнения, эти усы он отпустил нарочно, они, видимо, так он думал, должны придавать ему мужественность... как и маленький стек, с которым он не расставался. Ему могло быть лет двадцать пять — двадцать шесть, не больше. Он не скрыл от Каролины, что он — пансионер Французской Академии, здесь, в Пинчо... Что он скульптор. Если бы их видели вместе, что о них подумали бы?

Он говорил, говорил без устали. О Канове*, о Микеланджело. Каролина улыбалась, полуприкрыв глаза тяжелыми веками. Она вновь видела его таким, каким он возник перед ней и разогнал негодяев, окруживших ее на лестнице пьядца ди Спанья, когда она вышла из монастыря Тринитá деи Монти и направлялась к своей карете, которую оставила внизу, ей хотелось побыть одной, ей все-таки досаждало неотлучное присутствие того сопровождавшего ее мужчины... он очень ей нравился, но все же он скучал, пока она осматривала древние камни. Именно там, возле Баркачча, фонтана работы Бернини**, в толпе цветочниц и торговцев шнурками к ней начали приставать. Не просто горстка мальчишек, с ними еще был вожак — бандит, один из тех разбитных парней в лохмотьях, чья красота ее пугала; улицы Рима в 1814 году были небезопасны для иностранцев — с уходом французов и возвращением папы нож, как говорили, снова вступил в права хозяина города... И вот когда этот маленький мужчина, говорящий на каком-то тарабарском итальянском, без труда их разогнал и, гордый собой, предстал перед ней в том же темно-зеленом рединготе, когда этот маленький мужчина предложил ей свою помощь, она с радостью оперлась на его руку, наверное, в ней все еще жило смутное, греховное желание нравиться... ах, она просто голову потеряла! Почему, вместо того чтобы позволить проводить себя до кареты, она предпочла прогулку со своим спасителем в садах Пинчо? Они повстречались, когда он шел от

* Канова, Антонио (1757—1822) — итальянский скульптор.

** Бернини, Лоренцо (1598—1680) — итальянский архитектор и скульптор, яркий представитель барокко.

Доминика, своего друга-художника, жившего на виа Грегориана, возвращаясь на виллу Медичи...

— Вы не сможете понять,— говорил он.— Вы, мадам, принадлежите совсем к иному миру, нежели я. Ваши чувства поделены между двумя родинami. Сейчас они союзницы и победительницы. Вы читаете наизусть немецкие стихи, однако носите цветы на могилы англичан. Вы свободны, невзирая на того дурного человека, от которого сумели избавиться... Вы говорите лишь о будущих путешествиях, о пейзажах, что вам еще предстоит увидеть... Кстати, прошлым летом я был в Венеции, на лагунах Лидо... мне показали человека, всадника, прищипоривая лошадь, он мчался сквозь камыши, прямо по бездорожью, перескакивая через лужи... От него веяло властной силой, казалось, будто он хозяин этой чужой, словно растворенной в воде земли... Мне сказали, что это лорд Байрон... сам не знаю почему, но, глядя на вас, я думаю о нем...

Она спросила — несколько глупо, в чем тут же себе призналась:

— Так чем же, по-вашему, я похожа на этого хромого Аполлона?

Он, казалось, счел вопрос естественным.

— Вы относитесь к тем людям,— ответил он,— для кого нет никаких привязанностей... разве вы сможете понять то смятение, которое охватило нас?

Нас? Что он хотел сказать? Должно быть, Каролина, отдавшись своим мечтам, не слышала какие-то фразы. Слуга принес блюдо с зеленью. Да, только в Риме по-настоящему знают толк в травах. И в разных приправах...

— Все случилось сразу. В нынешний страшный год. Честно говоря, если я и воспользовался льготами, которые нам предоставляют, согласился на эту поездку по Италии, то лишь для того, чтобы покончить со всем этим... Не знаю, были ли вы в Риме в январе, когда город сперва заняли люди Неаполитанского короля, Мюрата*: вы понимаете, почему следовало бы лучше доверять генералу Миоллису, нежели Мюрату,

* Мюрат, Иохим (1767—1815)— маршал Франции, один из сподвижников Наполеона, с 1808 года — король Неаполитанский.

королю Неаполитанскому? Конечно, Миоллис представлял французский гарнизон... но мы не могли слишком гордиться своим положением оккупантов перед нашими итальянскими друзьями. Оставался Неаполитанский король, его все-таки сделал таковым Наполеон. А ведь римляне, кажется, доверяли Мюрату. Он хвастался, что сбросит австрийцев в море, хотя новости из Франции становились все хуже, письма приходили редко. Но с кем можно поговорить в Школе? Большинство все обращает в повод для насмешек. Бог мой, когда нам сообщили, что император собирается дать бой на Марне...

— А ваш друг? Тот, с виа Грегориана?

— Энгр?* Вы знаете, он всегда держался вдалеке от подобных вещей. Он называет все это «политикой». Мы с ним очень разные люди. Пусть он и старше, мне иногда кажется, что все дорогое моему сердцу для него уже в прошлом. Видите ли, он большой художник, но его не ценят по заслугам. Наверное, для него Наполеон, империя — лишь мастерская Давида**, мы познакомились там в 1810 году. Энгр идет своим путем... А в Школе все воспитанники берут пример с директора. Слышали об этом американце? Он всегда преданно служит хозяевам положения, наш Гийон-Летьер. Нашему товарищу Корто он заказал статую императора... Хотя я, надо вам сказать, до 1814 года вовсе не был бонапартистом...

Каролина смотрела на него с лукавым любопытством, она почти ничего не понимала во всем этом, а почему, по его словам, он не был бонапартистом? Значит, возвращение Бурбонов должно...

— Бурбоны! — воскликнул Пьер-Жан. — Никто не верил в них, просто не мог верить. Что же происходит во Франции? Неужели правда, что их встретили как спасителей? Нет, это невозможно...

Спустились сумерки. Однако даже в середине ноября еще было тепло. Лето словно задержалось на веранде, а в дома —

* Энгр, Жан Огюст Доминик (1780—1867) — французский живописец и рисовальщик.

** Давид, Жак Луи (1748—1825) — французский живописец, яркий представитель классицизма.

в Риме они отапливаются плохо — уже прокрасась зима. Пьер-Жан Давид говорил об Анже, о родных... как они теперь там? Его отец, так же как и он, был республиканцем... Они вместе, когда Пьер-Жан был еще ребенком, сражались в армии Клебера против вандейцев... Она с изумлением взглянула на этого маленького якобинца.

— Сколько же вам тогда было лет?— спросила Каролина.

Пять... да, пять. В одном бою он потерялся, отец попал в плен, а его подобрали женщины, и он следовал за вандейской армией генерала Ларошжаклена* на зарядном ящике... Было это в девяносто третьем году...

— Террор!— вздохнула она.

Террор, разумеется!

— Видите ли, мадам... видите ли, тогда не оставалось выбора: мы были бедны, жили впроголодь, и, когда чужеземец стал нагло угрожать Республике, мой отец... Вы слышали о манифесте герцога Брауншвейгского?

Она слегка отшатнулась в тень, рука ее играла бокалом, в котором на донышке плескалось белое вино. Он не видел выражения ее лица.

— О, простите меня,— сказал он,— я заставляю вас умирать от жажды!

Об этом манифесте она слышала. Даже полагала, что он известен ей слишком хорошо... Как она чудовищна, гражданская война. Он говорит, что это было страшно. Особенно страшно, если начинается чужеземное нашествие. Его детство, эта затянувшаяся нищета. Пока отец не вернулся к ним в Анже, его мать и сестры вынуждены были бродить по фермам, выпрашивая кусок хлеба. И потом, много ли он мог заработать, отец Давида?!

— Республика была бедна,— продолжал Пьер-Жан,— нужно было служить ей ради любви к ней...

Фраза эта до глубины души потрясла Каролину, впрочем, может, молодой человек произнес ее с особым чувством? Все совсем не вязалось с ее привычными представлениями об

* Ларошжаклен, Анри, граф (1772—1794)— один из руководителей контр-революционного восстания в Вандее.

этих людях. Она пыталась представить себе отца этого малыша, резчика по дереву, который вырезал для родного города Алтарь Отечества... мать, которая побиралась по деревням... бедный люд из Анже...

— Все сказанное не объясняет мне, почему вы ненавидели мсье де Буонапарте.

Он стал возражать. Не в том дело, что он его ненавидел. Дело — в Республике...

— Знаете, в Анже было много республиканцев, они собирались тайно, маленькими группками... Я был знаком с одним из них, в свое время он помог моему отцу... он принадлежал к тем, кто разделял идеи «равных»... У него собирались... Я-то плохо понимал, о чем они говорили, «за» они или «против» Робеспьера. У нас всегда произносили имя Робеспьера чуть слышно. И Сен-Жюста. Тогда для меня имя Бабефа* ничего не значило. И вот один из друзей, сын печатника, ввел меня в «Ложу Братской Нежности...» Да, к масонам. Как-то при мне они называли имя одного из них. Мне было лет восемнадцать, я уже работал у своего учителя Делюсса и безумно увлекался искусством. Так вот, эти бабувисты говорили о ком-то из своих, по имени Буонарроти... На мои расспросы они ответили, что этот Буонарроти — действительно потомок Микеланджело...

А при чем все это в рассказе молодого скульптора? Горящие на столе свечи придавали Пьеру-Жану мечтательный вид, он мягко гладил пальцем обвислые усы; полумрак будто обесцвечивал его. Но он снова заговорил о 1814 годе, о Мюрате... О бандитах, от которых почти нигде в окрестностях города не стало проходу, уже нельзя, особенно французам, отправиться на прогулку к Альбанским озерам. Когда Фуше** подписал соглашение, по которому вся Италия отходила Неаполитанскому королю... в Риме нашлись люди, которые злорадствовали, а те, кто, подобно Давиду, с уважением относился к патрио-

* Бабеф, Грахх (1760—1797) — французский коммунист-утопист, один из руководителей движения «Во имя равенства» при Директории.

** Фуше, Жозеф (1759—1820) — министр полиции Франции. Его имя стало олицетворением беспринципного карьериста и предателя.

тизму итальянцев, убеждали себя, что Мюрат — это все-таки Франция... К тому же в городе по-прежнему оставались французские войска... тысяча триста человек...

— Но когда мы увидели, как уходит гарнизон из замка святого ангела... Поверьте, больше никогда я не смогу спуститься с холма Пинчо по этой стороне, подойти к Порто дель Пополо... У меня все еще стоят перед глазами наши солдаты, это было в первые дни марта... помните, как рано в этом году пришла весна? Генерал Миоллис уходил из замка с горсткой своих людей, развернув трехцветные знамена,— мы, несколько воспитанников, вышли из Школы часов в семь утра... Мы слышали, как в отдалении стихают барабаны, видели, как уплывают по улице Фламима знамена... Возвращаясь в Школу, я увидел в садах кроваво-красные цветы на иудиных деревьях. Я шел с моим другом, музыкантом Герольдом, и он спросил: «Кто же кого предал?» Я не знал, что ответить... римляне без особой радости смотрели, как уходят французы, они даже не выкрикивали им вслед проклятий... Стало известно о возвращении в Париж Бурбонов... Директор приказал убрать в подвал статую, над которой работал Корто, затем пустился разглагольствовать об узурпаторе, о счастье Франции и покое Европы... Тогда-то и начали мы думать о Наполеоне совсем по-иному...

Сразу же по возвращении папы Пьер-Жан уехал из Рима. Утверждали, будто к приезду папы причастен сам Наполеон. Чтобы помешать Мюрату объединить Италию — так объясняли Давиду в Риме друзья-итальянцы. Народ, разумеется, высыпал на улицы, площади. Те же самые ворота, через которые ушли французы, стали свидетелями возвращения верховного владыки в позолоченной карете; едва она въехала в город, лошадей распрягли какие-то молодые люди, вроде тех папенькиных сынков, бандитов и дезертиров из замка святого ангела, что в дни карнавала переодеваются в женское платье и задирают прохожих. Пия VII внесли в Рим на руках, а с Корсо изгоняли евреев, открывали тюрьмы... В чем добро, в чем зло?

— Что касается меня,— сказала Каролина,— то я протестантка... а вы?

Давид признался, что он не задумывался об этом. Он не верит в бога. Может, и существует какое-нибудь божество... но это не папа, ни в коем случае не папа, не эти всемогущие священники, их челядь, заполонившая город, все эти семинаристы, монахи, монашки... Каролина пристально смотрела на него. Вот, вот где его истинная страсть, подумала она. А что еще, спрашивала она себя, может безраздельно увлечь молодого француза...

И вдруг он, как-то удивительно и необычно, заговорил о святой Цецилии. Каролина, должно быть, еще раз не уловила хода его мысли, ведь слуга принес сыры — скаморце, качо кавалло, пармезан. Одна из свечей задымила. Слуга прямо пальцами снял нагар. При этом освещении лицо его приняло лукавое выражение леонардовского Жана-Батиста. Он что-то шепнул даме. Она, усмехнувшись, отослала его.

— Что он сказал?— спросил Давид, совсем смутившись.

— Ничего,— ответила она,— я не пожелала его красного вина «Веллетри»... Так что вы говорили о святой Цецилии?

Он рассказывал о статуе Мадерны, которая находится в монастыре святой Цецилии Транстевверской. Она лежит, вытянувшись, на боку, в рубашке, лицо ее скрывают распущенные волосы. Такой ее нашли в катакомбах спустя несколько веков после убийства.

— Это очень красивая статуя,— продолжал он,— хотя я все-таки мечтаю о живой Цецилии... понимаете, Цецилии-музыкантше... она стоит с лирой в руках, вся она дышит верой и никогда не отречется от нее, надо лишь найти позу, которая убедит нас в этом, без пафоса... она могла бы, словно машинально, касаться пальцами нагрудного креста. Самое важное — лаконизм художественных средств. Особенно в проработке складок одежды, если художник знает, в чем нравственный смысл его искусства...

— Вы не верите в бога,— прервала его Каролина,— но, кажется, верите в его святых?

— Святые,— ответил он,— такие же мужчины и женщины, из плоти и крови. Я могу не разделять их идеала. Но у них есть идеал. Изображать святых, по сути, уже означает вносить

в искусство мысль, глубину содержания, нравственный дух...

— Я плохо вас понимаю. Вы не верите в то, во что они верят, и все-таки сам факт их веры для вас тем самым придает вашему труду нравственный смысл...

— Определенный нравственный смысл,— уточнил он.— Я не намерен всю свою жизнь лепить святых. Здесь, в этом городе, я понял, какими должны быть мои модели, на что я гожусь. До сих пор я ведь серьезно почти не занимался изучением тела, лица, причесок. Я заставлял позировать своих товарищей или простых людей. Теперь я знаю, что моя материя, только моя,— не эти случайные копии. Мне необходимы герои, необходимы гении. Я не хочу выдумывать. Вы понимаете, Каролина, за скульптором будущее... люди умирают, а он делает их бессмертными: он рассказывает, свидетельствует о них. Я не желаю оставаться свидетелем только ничтожных вещей. Мне необходимы герои...

Нет, подумала она, страсть его скорее в этом... В героях? Но при чем тут эта святая с лирой?

— Я говорил вам, что год был страшным... Я покинул Рим в шуме и суматохе возвращения Пия VII. Поверьте, я бежал не от папы. Все вместе — разгром Франции, возвращение Бурбонов, изгнанный Наполеон... слышали бы вы, как в Школе уже похвалялись презрением к идеям революции, Республики. Я бы остался. У меня в Риме были друзья. Мы встречались, как некогда в Анже «равные». Австрийцы вернулись в Милан, князь Евгений, на которого возлагали кое-какие надежды, уехал, после него в Пьемонте воцарилась анархия. Нашлось немало людей, которых успокаивали эти имперцы, ведь они вернулись, чтобы держать в узде народ. Немало даже среди итальянцев. Но я-то покинул Рим совсем по другой причине... Представьте только, ее тоже звали Цецилией...

Как горько женщине, чей взгляд в зеркало означает страдание, проводить вечер с мужчиной, пусть даже жалким, который говорит с ней о другой, а Каролина сейчас хорошо понимала, что Давид сгорает от жажды высказаться, поведать о том, в чем не смог признаться насмешливым приятелям,

даже своему другу Доминику, этому мсье Энгру с виа Грегориана, хотя тот был старше и, наверное, должен был изведать, что такое страдать; или его сердце навсегда отдано только живописи? Свидания эти были всего-навсего игрой, которую они решили продолжать. Оба, ни этот молодой человек, ни эта зрелая женщина, не ждали от своих встреч ничего, кроме удовольствия видеть друг друга и немного пококетничать. На мгновение Каролина вообразила этого молодого человека у своих ног или же... и пожала плечами. Тогда почему Цецилия так больно кольнула ей сердце?

Она, словно воду сквозь пальцы, пропустила все начало этой истории — как молодые люди познакомились, как сперва боялись взглянуть друг на друга, остаться наедине. Дело, оказывается, в том, что мысли одного из братьев Цецилии совсем не соответствовали патрицианскому положению их семьи. Ну, а он-то где встретился со скульптором?

— Когда я встречаю красивую натуру, я делаю с нее этюд... Опасно ограничивать себя изучением антиков, хотя антики — противоядие от дурного вкуса природы... Это случилось во время карнавала 1813 года, на меня сыпались неудачи. Сначала бородач, мужчина, чью голову я лепил, какая натура! На следующий день утром он умер от какой-то неведомой внезапной болезни. И тогда же умерла девушка с греческим профилем, чистое совершенство! Я работал над ее головкой во флигеле дворца Сан Гаэтано... вы когда-нибудь были на этой вилле? Там у Энгра во флигеле была мастерская, когда он еще занимался в Школе, флигель стоит в глубине сада, к нему ведут тенистые аллеи, подходишь к дому — и вдруг открывается вид на весь город, на Ватикан. Если бы вы видели, как по вечерам заходящее солнце заливало золотом мою мастерскую, эту девушку...

— Цецилию?

— Да нет, то была не Цецилия! Ту, о ком я говорю, натурщицу, дочь ремесленника, — настоящая nereida, она меня приводила в восторг! — вечером убили кинжалом на Корсо, там уйма цветов, на балконах — ковры, грохочут кареты, повсюду толпы ряженных... Вот тогда Эмилио и осенила мысль

привести ко мне Цецилию, свою младшую сестру, он думал, как я вам уже говорил, что в ней я найду подходящую нереиду. Ах, господи!

Кем был этот Эмилио? В римском светском обществе немало юношей, обычно младших отпрысков богатых семей, кого увлекал мираж революции. Без сомнения, Эмилио был карбонарием. Каролина встречала двух-трех подобных юношей. Все это было не вполне серьезно. Но почему же не вполне серьезно? Неужели у нее вызывает досаду мысль, что у Пьера-Жана могли бы быть серьезные связи с настоящими карбонариями?! Она заставила себя внимательно выслушать исповедь маленького скульптора о романе молодых людей. Возникал вопрос даже о браке! Но это зависело не только от Эмилио. Давид не понравился семье. Эти знатные, облаченные в черное люди, за чьей спиной из тьмы времен всплывали кондотьеры и кардиналы, недобрым взглядом смотрели на анжуйца, приехавшего в Рим копировать древние статуи. Кстати, не требовалось особой проницательности, чтобы учуять в нем плебея, и плебея из наихудшей, французской черни, этих цареубийц. Однако главная причина их враждебности заключалась в другом. Нельзя было допустить, чтобы дворец, коим они владели на виа Куатро Фонтане, и замок, выстроенный из кусков лавы на берегу озера в Альбанских горах, вместе с наследством достались чужаку, — деньги необходимы были для поддержания высокого положения семьи, нужно было, чтобы все оставалось в руках старшего сына, а дочери определить ее долю: с детства мать предназначала Цецилию в услужение деве Марии, дочь должна уйти в монастырь, и ничто не смогло бы отменить этого решения.

Даже Эмилио, похоже, стал пособником заговора. Разве не он склонил Пьера-Жана уехать, как предлагал ему сделать Гийон-Летьер? И кто, если не Эмилио, внушил директору мысль отправить своего воспитанника на север Италии? Эмилио надеялся, что в отсутствие Пьера-Жана все уладится, семья забудет о своих планах... Давид побывал во Флоренции, Венеции... Вернулся он быстрее, нежели ожидали, в изнывающий от жары Рим. Цецилии в городе не было. Ее увезли в фамильный

замок возле Кастельгондольфо, в эту разбойничью область, куда француз не посмел бы проникнуть. И Давид на три месяца отправился в Неаполь, Помпеи, объездил почти все побережье Тирренского моря...

Неужели она, Каролина, постарела настолько, чтобы мужчина говорил с ней о другой женщине! Ей хотелось встать, пойти взглянуть в зеркало, убедиться, совсем ли она подурнела. Но рассказ Давида словно приковал ее к месту, к этой веранде с видом на город; был лунный вечер, а что еще можно добавить о лунном вечере в Риме тому, кто его никогда не видел? Понимала ли это Каролина? Тон Давида изменился.

— Верите ли вы,— спросил он,— что Цецилия должна быть святой? Как можно в этом сомневаться, ведь святость измеряется страданием, мученичеством! Вы спрашивали меня, верю ли я в святых? В 1808 году, когда я уехал из Анже, мои родные были в ужасающей нужде, мой учитель Делюсс дал мне сорок франков, чтобы я добрался до Парижа. Этих денег мне не хватило бы на дорогу и еду. В Шартре я сошел с дилижанса, решив проделать остаток пути пешком. Вы были в Шартре? В мире нет ничего прекраснее его собора, даже в Риме нет. Верили ли мастера, создавшие барельефы порталов, в святых, которых они изваяли? Не знаю почему, но я почувствовал нечто вроде стыда перед этими статуями: разве мог я смотреть на них глазами неверующего? На Цецилию я глядел глазами любящего... вы понимаете меня, понимаете? Я видел ее в последний раз совсем недавно, девятого сентября, четырех месяцев не прошло! Эмилио передал мне ее записку. Мы встретились с ним по политическим делам. Цецилия должна была подойти к освещенному окну, что выходит на улицу, в последний раз... Наутро ей предстояло постричься. Накануне я приехал из Неаполя, я сходил с ума — снова найти ее, чтобы навеки потерять! Что делать? Цецилию держали взаперти во дворце на виа Куатро Фонтане. Это здание построил Мадерна*, не тот, кто сделал статую Цецилии, а другой, архитектор, он украсил фасад дома лепными пчелами. Я стоял рядом, на улице, тьма

* Мадерна, Карло (1556—1629)— итальянский архитектор. Представитель барокко.

была, хоть глаз выколи. Освещенное окно распахнулось на веранду. О, как билось мое сердце! Если тогда оно не разорвалось, то нет надежды, что оно когда-нибудь само перестанет биться. Я видел ее, она стояла у окна в прямом со складками платье. Она ласкала крест, висевший на ожерелье, словно играя им. Вся она лучилась светом, а я растворялся во тьме, в земной ночи. У меня остался лишь один рисунок с нее, набросок, который я сделал, когда она впервые пришла в мастерскую Сан Газзано. Однажды, когда-нибудь, я вылеплю эту живую святую Цецилию, и статуе будет недоставать только слез!

Пьер-Жан не заметил ни слуги, украдкой подошедшего к даме, ни того, как она расплатилась за ужин.

Молодым людям свойственно бросаться в жизнь очертя голову: из детства они выходят, обуреваемые мечтами и жадной упоения, они плохо понимают мир, куда их забросило, мир, который часто мешает им, заставляет идти не туда, куда они стремятся. Личные дела, захватившая их страсть затмевают все. Те из них, кого сразу же тисками сжимают социальные условия жизни, не оставляя ни выбора, ни игры, мужают раньше других и первыми заговаривают на языке взрослых. Я имею в виду и тех, кто вынужден, чтобы не впасть в нищету, трудиться изо дня в день, и тех, кому выпадает богатство, которое они боятся потерять. Одним и другим без размышлений приходится считаться со своей эпохой и с историей. Однако существует множество неопределившихся юношей, которых с первых шагов учеба словно оберегает от жизни, надолго сохраняя для них прелесть детства... Эти молодые люди уже мужчины, но не ведают меры собственной ответственности. А если их охватывает страсть к тому, что они изучают... то они становятся подобны тем художникам, кого государство, проявляя некое отеческое покровительство, посылает в Рим, будто на каникулы, оплачивает им путевые расходы и выплачивает сто франков в месяц стипендии...

Давид отнюдь не принадлежал к числу избалованных деток, обитателей особняков, где все делается прислугой, кого никогда не интересует цена сукна, из которого пошиты их кос-

тумы. В Париже, куда Давид пришел из Шартра пешком, он жил новыми заботами, все еще чувствуя себя счастливым, когда мог оказаться в числе рабочих на лесах Триумфальной арки, воздвигавшейся на площади Карусель перед Тюильри. Но Париж уже звал его к искусству, будил вихрь мыслей и честолюбивых стремлений. История если и вмешивалась в жизнь Давида, то для того, чтобы оторвать его от дел: в те времена войны в Испании, непрерывно требовавшей свежих пополнений, когда над всеми двадцатилетними витала опасность призыва, угроза оказаться в воинских частях, которые равнодушно швыряли в эту бойню, когда солдаты уже не верили, будто выполняют миссию Франции, борясь с восставшим народом и попадая в засады партизан, Давид воскликнул: «Как несчастны люди, что родились в этом веке!» — и это было не просто выражением его собственного чувства, а признанием поколения, опоздавшего стать поколением Маренго и Ваграма. С нашей стороны — вызвано это, наверное, тем, что мы читали и Мюссе, и Стендаля, — ошибка думать, что это смятение последовало за разочарованиями в рухнувшей империи, что целых двадцать лет молодежь опьянял запах пороха.

Много ли было их, не достигших на пороге 1815 года тридцати или постарше, что по возрасту могли на заре века носить оружие, — как, Энгр, например, — кто питал вкус к воинской славе? Достаточно посмотреть, как быстро пала империя, чтобы измерить их число. Францию наполнял оглушительный грохот, но она не оглохла. Людей, пытавшихся ускользнуть от славы, были миллионы: не только художники, скульпторы, но и крестьяне, уходившие в леса, в горы, иногда оказываясь в разбойничьих бандах, где они смешивались с подручными Бурбонов. Их, как и тех, кто все годы существования империи устраивал заговоры, вынуждали держаться вместе с теми людьми, чьи цели были прямо противоположны их целям, необходимость соблюдать в тайне политические интриги и стремление выжить. Почти во всех тогдашних заговорах рискующий своей жизнью республиканец вдруг с удивлением начинал приглядываться к спутнику, посланному ему судьбой; и никогда он не был уверен, что последний не окажется эмиссаром Лондона, пе-

реодетым шуаном. Люди графа д' Артуа* встречаются со сторонниками Бабёфа: те и другие носят имена на античный манер, и поди угадай, за кого этот Александр? Священники перестали носить сутаны: как, черт возьми, узнать, с кем имеешь дело? Даже в армию, в войска, стоящие в Вене или Пруссии, в промерзшие казармы Витебска или Москвы проникает тысячеликий заговор; скачут курьеры, везя под плащами послание, отправленное из Бордо или Анже, Монтана или Пуатье... Маршалы из окружения императора тоже начинают отступать в тень этого заговора... на кого они работают? Ней** — республиканец он или предатель? И предатель ли Мюрат, который уже связался с англичанами и Австрией? Это он выгнал французов из Рима. Но, быть может, он что-то знал, стремился хотя бы сохранить Италию... спасти эту часть имперского величия. Что до Мармона, то его проглядели все.

Объяснить это можно тем, что труднее всего было провести демаркационную линию между добром и злом, патриотизмом и предательством, понять, где начинается подрывная работа чужеземцев, а где останавливается Республика... Я, Брут перед Цезарем, не слишком хорошо знаю, что обо всем этом следует думать. Однако гораздо сложнее было распутывать весь этот клубок тогдашней молодежи, воспитанной под звон фанфар и трепет императорских знамен. В какой момент спал дух массового подъема, в какой момент Вальми*** отошло в прошлое? При Термидоре... нет, Термидор не объяснение: надо ли было в ту минуту, когда Робеспьер умирал с выбитой жандармом челюстью, открывать границы армиям Австрии и Пруссии? Неужели имена Питта**** и Кобурга мгновенно потеряли всякое значение для людей, в чьих ушах все еще звучала «Походная песнь»? Нет, нет... ведь за Бонапартом долго, сидя

* Граф д' Артуа (1757—1836) — в 1824—1830 гг. король Франции Карл X.

** Ней, Мишель (1769—1815) — маршал Франции, участник всех наполеоновских войн. Расстрелян Бурбонами.

*** Вальми — селение во Франции неподалеку от Вердена. 20 августа 1792 года французская революционная армия разбила здесь объединенные войска австро-прусских интервентов и французских роялистов.

**** Питт, Уильям Младший (1759—1806) — английский политический деятель, один из организаторов коалиций европейских государств против революционной и наполеоновской Франции.

как маркитантка на зарядных ящиках, следовала насквозь израненная Свобода... Где начинается зло? Где кончается добро? Они не ведают собственного счастья, те люди, для кого все ясно, а мир четко поделен шпагой надвое! Люди, могущие умереть с верой в себя... отдать свою жизнь, не поддаваясь сомнениям, что охватывают поколения, с которыми делает свои первые шаги человек XIX столетия. Неужто было неизбежным, чтобы восторжествовал генерал Малле... чтобы окровавленные остатки «великой армии» узнали где-то на чужбине, что находящийся среди них маленький человечек больше не император? Какую роль во всем этом играла Франция?

Но теперь она повержена, захвачена, раздроблена... Разумеется, в 1814 году, когда союзные армии идут на Париж, Пьер-Жан Давид собрал в Риме своих товарищей по Школе у лоджии с нишами, в которых стоят мраморные боги, и пытался убедить их, что сейчас, именно сейчас все прояснилось, ибо коалиция завладела Родиной, а их общий долг — бросить Рим, Школу, искусство, стать гражданами, солдатами там, во Франции, на французской земле, изгнать врага... и те, кто вчера шел за императором, аплодировал ему, и заговорщики, не забывшие крови народа на ступеньках Сен-Роша, и те, кто хочет конституции Робеспьера и раздела имущества, подобно всем, кто, наверное, способен верить в лилии, но ни в коем случае не в привезенные в фургонах чужеземцев, смогут ли все они понять его? Он прав, этот круглоголовый уроженец Анже с бледным, изрытым оспинами лицом, который говорит — когда все остальные молчат — один, будто сам с собой; молчание — их вежливая поза, способ от него отвернуться, но правда и то, что сквозь три выхода на большой парадный двор, затененный двумя колоннадами из глазкового мрамора, сквозь балюстрады лестницы, которая двумя крыльями спускается на двор и к главному фонтану — раковине с танцующим Меркурием, между зданиями из рыжевато-го туфа и желтого кирпича — по бокам их обрамляют статуи, — сквозь арки из белого травертина видны на фоне далеких деревьев — там попеременно стройные столбики кипарисов и широкие зонты пиний, — купы зелени над стенами, видна, чуть поодаль за фонтаном Венеры с дельфи-

нами, меж высоких шпалер подстриженных деревьев, статуя сидящей, абсолютно невозмутимой Ромы. И один думает о книге, что он оставил раскрытой на столе, и косится на дверь в библиотеку, а другому не терпится в глубь сада, в домик Веласкеса, взглянуть лишний раз на «Экорше» Гудона...* Ведь время проходит. Какое тонкое чутье проявили они, не слушая Давида! Рома вечно восседает там, за струями фонтана, а во Франции все повернулось столь странным образом...

Неужто вы думаете, что вечером, в своей комнате, маленький Давид из Анже не разрыдался в яростном отчаянии... как сказать, от этого равнодушия, что ли... Несомненно, что он все преувеличивал, считая, будто этот креол с Гваделупы, Гийон-Летьер, лишь из-за каких-то козней родителей Цецилии предложил ему немного поездить по Италии, более вероятно, что директор хотел избавиться от этого смутьяна с его несвоевременным патриотизмом.

Возможно, все обстоятельства для него окончательно прояснились. Возможно, отныне он знает, что означает жить и умереть. И кто будет теми героями, которых он так жаждет. Возможно. Но что думает об этом Доминик на виа Грегориана? Ведь в этой сумятице ни Корто, который согласился из мрамора, предназначенного для статуи Наполеона, высечь фигуру Людовика XVIII, ни директор Школы, посоветовавший ему это сделать, действительно не сумеют найти верную линию поведения... Они подвержены колебаниям атмосферы, царящей в Риме, где, как никогда раньше, кишмя кишат рясы, клобуки, босые монахи, странные, подпоясанные веревками бородачи, прелаты в лиловых мантиях, венгерские семинаристы, одетые в красное, подобно солдатам Франца II, которых император Австрии послал охранять особу святого отца. Они мелькают повсюду, эти рясы, тонзуры, осунувшиеся лица, изредка сталкиваешься со знакомыми физиономиями — прежде их встречали в партикулярном платье на карнавале или у генерала Миоллиса, они лизали там французам сапоги. Благодаря всему этому можно было представить себе Францию в ту зиму. Ту Францию, ко-

* Гудон, Жан Антуан (1741—1828)— французский скульптор. «Экорше» («Человек с содранной кожей»)— знаменитая статуя мастера.

горя оставила в Италии неизгладимые — поход Франциска I, великолепие Людовика XIV — следы, но только больше не следует говорить, что эспланада на холме Пинчо — это дело рук Наполеона: ведь теперь мемориальная доска свидетельствует, что эспланада построена щедротами верховного владыки, как будто бы там, где вплоть до недавнего дня пасли коров, на Кампо ваччино, форум, расчищенный солдатами Буонапарте, возник лишь благодаря широте взглядов Пия VII.

Однако именно сейчас, в этой ночи века, люди действительно несчастны, что родились на свет.

Теперь было просто невозможно оставаться днем дома. Римские жилища почти нельзя протопить, особенно топливом, которым, как утверждают римляне, они пользуются. На вилле Медичи у Давида всегда коченели ноги, так как ко всем прочим бедам никто больше не получал из Франции ни гроша, и в Школе Гийон-Летьера водворилась беспросветная нужда. Ученики в мастерских пританцовывали, чтобы согреться. Приближался Новый год, а улицы и площади дышали какой-то весенней мягкостью. Стоило на несколько часов выглянуть солнцу, как становилось даже жарко. Порывы дождя освежали зелень, в фонтанах резвились мальчишки. В это время года кампания приобретала странную привлекательность, все, как никогда, рвались на прогулки, на свежий воздух, словно они, не зная почему, казались им запретными. Даже дубы и каштаны по-прежнему красовались желтыми листьями среди кущ вечной зелени... Должно быть, некое изощренное лукавство толкнуло Каролину повезти Давида в сторону Кастельгондо-фо... Уж не хотела ли она отыскать этот замок из кусков лавы, где больше не жила Цецилия?! После ухода французов разбойников замирили.

Но не на этой прогулке с Каролины спала маска. Правда, Пьеру-Жану почудилось, что кучер, открывая дверцу кареты, как-то странно обратился к Каролине. Давид был почти уверен, что тот произнес «Ваше Величество»... Он упрекнул себя за разыгравшееся воображение. Ведь Каролина не желала, чтобы он знал ее фамилию, именно таково было правило их игры... На ней был желтый с белыми перьями берет, обшитый гофри-

рованными кружевами, плюмаж покачивался в такт локонам, перехваченным лентой. Серое платье с высокой талией и длинными рукавами, стянутыми у запястья золотистыми кружевными манжетами, сшито было из немнущейся, но всегда выглядящей слегка помятой ткани. Каролина носила длинные платья, длиннее, чем того требовала мода, они почти прикрывали ее обувь, была закутана в накидку из блестящего желто-серого альпака в широкую полоску. «Просто слов не нахожу, чтобы выразить, как я люблю зеленую траву под Новый год...» Чего она ждала от него в карете на обратном пути, так размечтавшись? Боюсь, в глазах дамы Давид выглядел совсем прощачком. Впрочем, в его жизни был период, о котором он теперь предпочитал не вспоминать, кстати, тогда тоже все произошло под самый Новый год, но ведь было это пять лет назад! Наш скульптор полагал целомудрие жизненным правилом художников. По правде говоря, он был рассеян. Но не настолько, чтобы не замечать упорного молчания кучера на обратном пути и взглядов, которые Каролина бросала на этого наглого слугу. Эта женщина была исполнена решительности: никто не заставил бы ее поступать вопреки своей воле. Точно так же все это никак не входило в намерения Давида...

Потом погода испортилась, и три дня на улицу нельзя было носа высунуть. В первый же ясный день посыльный принес на виллу Медичи записку скульптору. Каролина просила встретиться с ней перед гостиницей «У медведя». Той, что находится в нижнем конце виа дель Монте Брианцо, на маленькой площади, почти у самого Тибра. Быть может, Каролина в конце концов пригласит его к себе? Оказалось, нет: она ожидала его на мощенной булыжником площади, перед этим домом с расположенными уступами лоджиями. Гостиница стояла рядом с населенным простым людом кварталом с узкими улочками, где круглый год хлопает на ветру вывешенное в окнах белье. Набережной вдоль Тибра тогда еще не существовало, поэтому берег реки в основном служил свалкой. Спутники пошли по виа ди Тор ди Нона, сворачивая то в одну, то в другую улочку, в которых кишела оборванная ребятня и из-под ног, испуганно подскакивая и куда-то исчезая, прыскали кошки... Каролина

была в смятении. Ей не столько хотелось разговаривать, сколько не быть одной. Наверное, в ее жизни что-то произошло. Гостиница «У медведя»? Почему? Потому что в ней жил Гёте. Она читала Давиду из его элегий:

...Saget, Steine, mir an, o sprecht, ihr hohen Paläste!
Strassen, redet ein Wort. Genius, regst du dich nicht!
Ja, es ist Alles beseelt in deinen heiligen Mauern,
Ewige Roma; nur mir schweiget noch Alles so still...*

Но, казалось, думает она совсем о другом.

— Здесь, в Риме,— сказал Давид,— он написал «Эгмонта»...

— «Эгмонта»?— внезапно словно пробудилась она от какого-то забытья.— Да, конечно... «Эгмонта» и другие вещи... «Ифигению»... das Schmerzenskind, дитя страданий...

И она прикрыла глаза руками в длинных перчатках.

— Что с вами, Каролина?— спросил Давид.

Ничего, с ней ничего. Ответила она весьма сухо. Каждому близко то, что больше всего его волнует. Так и Пьер-Жан... с ним говорят о Гёте, а он сразу же вспоминает «Эгмонта»... быть может, еще несколько месяцев назад «Эгмонт» был на их стороне, когда Буонапарте в Италии, как и в Испании... да и у них, во Франции... Завтра он будет читать наизусть господина фон Клейста**... Все у нее путалось. Все-таки сегодня финал «Эгмонта» вызывает восторг лишь у одних французов.

— А я Ифигения,— вдруг сказала она.— Ведь у Гёте всегда выбираешь то, что разбивает тебе сердце... Weh dem, der fern von Eltern und Geschwistern — Ein einsam Leben führt! Ihm Zehrt der Gram — Das nächste Glück vor seinen Lippen Weg***.

* Камень, речь поведи! Говорите со мною, чертоги!
Улица, слово скажи! Гений, дай весть о себе!
Истинно, душу таят твои священные стены,
Roma aeterna! Почто ж сковано все немотой?

Гёте. «Римские элегии». (Перевод Н. Вольпин)

** Клейст, Генрих фон (1777—1811)— немецкий писатель и драматург эпохи романтизма.

*** Увы тому, кто вдалеке от близких
Жить обречен! Ему печаль сдувает
С молящих губ все радости земные...

Гёте. «Ифигения в Тавриде». (Перевод Н. Вильмонта)

Они шли молча и бог знает как оказались перед Пасквино. Давид очень любил этот изувеченный антик, который, словно нищий, стоял на своем постаменте, прислонившись к стене палаццо Браши. В этом безруком обрубке, с безликой головой, с отбитой ногой, облаченном в хламиду с перекрещенными на груди повязками, римский народ неведомо почему видел себя самого, олицетворение своей веселой нищеты. Давид так и сказал «народ»... он часто употреблял это слово. На сей раз Каролина обратила на это внимание, заметив раздраженным тоном:

— Народ, народ... не только народ бывает несчастен!

Он смотрел на нее, в глазах ее мелькнули слезы. Но нет, она не плакала, то были сухие слезы. И тут она призналась.

Елизавета-Каролина, герцогиня Брауншвейгская-Вольфенбюттельская, вчера вечером получила письмо от своей дочери, от Лотты, этого ребенка, которого научили ненавидеть мать, единственного ребенка, что послало ей небо... Она говорила о небе, а не об отце, своем кузене Георге Ганноверском, принце Уэльском и регенте Англии...

— Значит, вы... — начал было Давид. Она отлично понимала, что ему не хотелось произнести «регентша Англии», однако... это как с Гёте: тот, у кого дочь, предпочитает «Ифигению», а он, этот маленький якобинец из Анже...

— Да,— сухо ответила она,— я дочь Карла Вильгельма, герцога Брауншвейгского, генералиссимуса войск коалиции, сражавшихся против вашей Республики, да... того самого, автора манифеста...

Каролине не нужно было рассказывать историю своей жизни. Давид знал ее. Они отошли от Пасквино и вышли на необъятную, бесконечно длинную, нарядно вымощенную плитами площадь, где игры гладиаторов сменились фонтанами и церквами. Тучи нищих обступили их. Жалкие надоедливые мухи, два соперничающих роя, что гнездились под порталами двух церквей, едва завидев издали иностранцев, подходивших к пьянице, они вихрем бросались к этой надежде. Пьянца Навоне прекрасна и печальна, как смерть святой Агнессы, которую, когда ее, обнаженную и целомудренную, бросили на глазах римлян ди-

ким зверям, чудодейственно скрыли волосы... Но почему же теперь эту площадь заполняло шумное и грязное торжище, а ноги скользили на капустных листьях, растоптанном салате-цикории, матроны предлагали вам лук... и всюду, всюду новогодняя трава, эта зелень, пробивающаяся сквозь трещины в камнях, и эта весна овощей на лотках...

На пьянце Навоне, в ее узком древнем нефе, зажатом двумя церквями,— слева, по центру, Санта-Аньезе-ин-Агоне с ее куполом, а чуть в глубине, направо, Сан-Джакомо ди Спаньоли, куда приходили исповедоваться еще солдаты Цезаря Борджа,— тогда было всего два фонтана... но — и этого было достаточно — в самом ее сердце уже высился фонтан «Четырех рек» Бернини, к которому с большим трудом пробралась странная пара *forestieri**: низенький мужчина в длинном просторном плаще, в шляпе музыканта и с тросточкой, и высокая дама, нацепившая такую потешную и такую дорогую шляпку с перьями... к фонтану Бернини Пьер-Жан приходил словно паломник, потому что именно тут, на одной из причудливых скал, нагроможденных вокруг обелиска, находилась статуя крепкого бородатого крестьянина, олицетворявшего Нил, и Давида особенно интересовал ракурс его правой ноги, выступавшей над скалой голой ступней, которая с дерзкой фамильярностью будто тыкала в нос прохожим. Он не удержался и сказал:

— Видите, если бы Микеланджело отдать весь мрамор, ему не хватило бы его даже для ног его статуи, так крупно он видел... Бернини...

Она не слушала его. По отношению к Пьеру-Жану это было не равнодушием, а скорее сдержанностью. Они больше не любовались Римом. Он взял ее руку и поцеловал. Она позволила сделать это. Они знали, что медленно поднимаются к Корсо. Там тоже жил Гёте. Это в доме на Корсо он закончил «Ифигению».

— Лотта,— заговорила она.— *Dieses Schmerzenskind*. Я родила это дитя от того человека... Уже давно. Она ровесница вашей Цецилии. Он женился на мне лишь ради того, чтобы рас-

* иностранцев (*итал.*).

платиться со своими долгами, он пил, он... Когда они сговорились против меня, чтобы от меня избавиться, заставить покинуть двор, уединиться в Блэкхите... они отняли ребенка, построили его против меня, воспитали во лжи... Я не получала от нее никаких вестей. Сначала я была слишком молода, думала, что выдержу это... в конце концов ведь я совсем не знала ее, мою малышку. Потом прошли годы. Годы. И эта нестерпимая мысль. Какое мне дело, что я никогда не стану королевой? Но не быть матерью!

Они больше не любовались Римом. Они шли не спеша. «Ифигения»... Они шли по Корсо, забыв о Гёте. Вчера вечером Каролина получила письмо. Послание...

— Они окружили меня шпионами, следят за мной. В Риме, как в Блэкхите. Чем, думаете вы, занимается здешний посол? Едва я нанимаю слугу, его сразу подкупают... у горничной выпытывают самые интимные подробности... Никогда не знаю, с кем имею дело. Должно быть, регенту уже доставили донесение о преступной связи, которую, для них ведь это очевидно, я поддерживаю в Риме с молодым французским скульптором! А это письмо...

Лотте исполнилось восемнадцать. И все эти годы ее держали вдали от матери. Теперь настало время мучить ее, терзать в ней образ матери. Той матери, которой все-таки позволили уехать, отправиться путешествовать... именно в этот год... Сперва это показалось проявлением великодушия, но на самом деле это отвечало интересам государства: устранить мать и по своей воле выдать замуж дочь! Государственный интерес требовал, чтобы Елизавету Брауншвейгскую принесли в жертву порокам толстого Георга, а ее приданое — в жертву притонам и миссис Фитц-Герберт. Во имя государственного интереса Каролину обвиняли в супружеской неверности и бог знает в каких еще гадостях! Сегодня этот государственный интерес повелевает, чтобы Лотта... Да, государственные интересы требовали принести ее, подобно Ифигении, в жертву, чтобы ветер наполнил паруса Аргоса. А от Лотты государственный интерес требовал стать супругой принца Оранского, наследника голландского престола... Он совсем не нравился Лотте. Но этот принц был

адъютантом Веллингтона* в армии союзников... так что... Лотта отказывалась, просила, умоляла. Отец избил ее, но не сломил. Теперь он заточил ослушницу в Виндзор. О, как он прекрасен, величествен, этот Виндзор, красивая, просторная тюрьма! И вот сейчас она вспомнила о своей матери... разумеется, ее письмо исполнено сдержанности, это письмо к незнакомке... но тем не менее... Только посыльный сказал, что писать отныне из Виндзора невозможно... Лотта обречена оставаться взаперти. В восемнадцать-то лет! Лотта, обретенная и потерянная.

Они шли в сторону пятачка дель Пополо. Елизавета-Каролина Брауншвейгская говорила о самом сокровенном в своей жизни, о детстве: о том, как в пестрых комнатах герцогского дворца, с готическими узорами на витражах, с оружием и темно-золотистой, словно колорит картин Дюрера, кожей, она сидела с куклами у ног матери и поджидала возвращения отца, стремительного, как вихрь, воина, генерала Фридриха Великого — копыта его коня рассыпались по камням двора серебряным звоном, — в промежутках между победами над французами, заключениями драконовских договоров, благодаря которым прусский король диктовал свою волю Версалю, развратному Парижу...

— Каким странным и далеким кажется сегодня тот мир! Столько бурь пронеслось, что я иногда спрашиваю себя, снилось ли мне все это или по-прежнему снится...

Ведь в результате позднее пришлось защищать именно врага, этого короля Франции, и в Германию уже начали приезжать целые семьи, галантные, изысканно изысканные мужчины и дамы, везущие с собой изящные сундуки, набитые туалетами... Юность была полна музыкой и стихами, что читались украдкой. Тогда в этой Германии, разделенной между князьями, создавались прекраснейшие в мире мелодии... Оратории и песни словно состязались друг с другом; Моцарт снова ввел в моду Баха при княжеских дворах, где доживали свой век старики, похожие на заводные куклы. Парики, пудра, узкие

* Веллингтон, Артур Уэлсли (1769—1852) — английский политический деятель и полководец, командовал англо-голландской армией в битве при Ватерлоо.

камзолы, лорнеты, вы же видели гравюры Ходовецкого?*

Все это предстояло защищать от безумств Парижа, где крамола перекинулась от королевского двора к этому дерзкому народу, от фавориток короля — к черни... Герцог Брауншвейгский, наследник всей былой славы Германии, великий стратег, воспитанный в школе покойного Фридриха, старел, угасая вместе со своим родом, а в залах древнего замка стоял невообразимый шум от приездов и отъездов курьеров, совещаний офицеров союзных армий... Объединившейся Европе требовалась сплоченная, дисциплинированная армия, нужен был вождь... чтобы бороться с этим народом, обагрившим руки кровью, с санкюлотами, с чернью, вооруженной пиками и ножами. Елизавета-Каролина вовсе не стремилась замуж. Как сегодня Лотта... Может, виной тому был один француз... о боже праведный, он перелистывал ей ноты, когда она играла, а она следила из-за шторы, как он стоит на булыжной мостовой площади, устремив вверх ищущие глаза... Сколько же раз они разговаривали? Брак с англичанином представлял собой ход в шахматной партии: заключен он был ради счастья и единства Европы... и Каролина прибыла на туманные берега Темзы с почти девственно наивным сердцем и с туалетами, подобно эмигрантке в Кобленце, больше ничего нельзя было понять из того, что происходило во Франции, все так запуталось... Разврат царил при дворе двух Георгов — старого короля, этого сумасшедшего, и его сына, мужа Каролины, принца Уэльского, этого распутника... Тогда ее личную трагедию затмила трагедия Европы, и там, на континенте, каждый день города попадали в руки молодого генерала с итальянским именем... И все эти годы, проведенные в Блэкхите, — вынужденное безделье, невыносимое английское одиночество.

Они шли вверх по Корсо к холму Пинчо. Небо почти погубело, и на улицы отовсюду высыпали священники. Каролина говорила о боге. О боге Иоганна Себастьяна Баха, а не о боге, торгующем индульгенциями. В католическом Риме этот бог чувствовал себя столь же чужим, как крестьянин с берегов Рейна или Гёте в первый день приезда... Грязные и заросшие

* Ходовецкий, Даниель Николаус (1726—1801) — немецкий график и живописец, иллюстрировал произведения Гёте.

щетиной монахи, ухмыляясь, пялили глаза на эту странную пару — молодого синьора и мадам... На улицах попадались испанцы, кое-кто из них вышел из монастырей Ливана, словно сейчас была эпоха крестовых походов, и встречались молоденькие венгерские семинаристы в красных рясах... А Пьер-Жан думал о матери и сестрах, которые там, в департаменте Мен-и-Луара, одетые в черные платья и платочки, выпрашивали по фермам подаяние, тогда как в Брауншвейге молодой кавалер переворачивал страницы баховской партитуры для Каролины, для Елизаветы, дочери автора манифеста, этого герцога, о ком отец всегда говорил с ужасом, из-за кого французы сражались с французами в Нанте и под стенами Анже... В чем же зло, в чем добро?

Елизавета-Каролина как-то бросила, наверное, в то свидание, когда Пьер-Жан рассказывал об уходе французов из Рима:

— Пьяцца дель Пополо... для вас, естественно, означает «площадь Народа»... вам ведь так нравится это слово! Знайте же, что «*popolo*» означает «тополь», а не «народ»...

Почему он вновь подумал об этом, проходя мимо садов, кипарисов, всей этой неестественной зимой зелени, когда сырой ветер пахнул апельсинами?!

— Все, что составляло мою жизнь, все, откуда мы вышли, рассыпалось в прах... — сказала Елизавета-Каролина. — Я не узнала мою Германию в этом году, когда они наконец отпустили меня из Блэкхита одну... Теперь я увидела эту Европу, ради которой нужно было умирать. Она похожа на большое сшитое из лоскутков пальто... стоит распахнуть его, как увидишь под ним лишь паршивое и жалкое тело нищего...

Они прошли мимо какой-то виллы. На площади привычно журчал фонтан, уже спустились сумерки. Вокруг шныряли не внушавшие доверия фигуры. Вскоре здесь вновь станут хозяевами воры и головорезы. Ну вот, она, разумеется, опять обвела его вокруг пальца, как дурачка, а Пьер-Жан так ни о чем и не догадался! Их прогулка казалась совсем бесцельной. Эта высокая дама с сухими глазами всегда знает, чего хочет. Грусть — это ее оружие, ее маска. Она приказала кучеру, чтобы карета поджидала ее у подножья лестницы на пьяцца ди Спанья, и

привела его прямо сюда, а он-то думал, что они просто бродят по городу! Она сама выбрала себе эту, а не иную жизнь.

— Моему отцу,— продолжала она,— тому, кто ради Европы продал меня англичанам, в 1806 году, под Ауэрштадтом, пробила переносицу французская пуля... Говорят, он долго, мучительно страдал...

И разве мог ребенок, преследовавший с армией Клебера ван-дейцев, знать о страданиях герцога Брауншвейгского, при кончине которого не присутствовала его дочь? Каролину же, вполне естественно, воспоминание об отце приводило к Лотте, которую вырвали у нее, словно сердце из груди.

У кареты ждал высокий мужчина, жгучий брюнет — в ночи его волос сверкало несколько серебряных нитей — с угольными, совсем как у Доминика, глазами... Он был изысканно элегантен, хотя, трудно было объяснить почему, его манера держаться и этот костюм из черного бархата придавали ему еле уловимый лакейский вид. Он подошел к ним, не обращая внимания на Давида, и низко поклонился Каролине, очень быстро говоря с ней на языке, несколько не похожем ни на немецкий, ни на итальянский... Это был новогреческий, а Пьер-Жан и по-древнегречески едва знал самые начатки. Каролина с каким-то высокомерием перебила его, протянув при этом руку, которую тот поцеловал, и ответила по-французски, властно кивнув головой в сторону своего спутника:

— Познакомьтесь с мсье Давидом, пансионером Французского института... Позвольте, мсье Давид, представить вам графа Франчини...

Граф очень волновался: сегодня утром, уезжая из дома, Ее Величество выглядела такой печальной, уж не больна ли она... всегда так бывает, если она получает новости из Лондона... Весь день он ждал ее у кареты.

— Вы даже не обедали?— спросила она.

Нет, он не мог обедать. Граф был бы безупречно красив, если бы не его взгляд... Именно из-за этого взгляда Давид подумал: «Нет, для меня он — не модель...»

Когда они отъехали, молодой скульптор долго смотрел вслед карете. Кто это, ее мажордом или любовник? Может быть, и то,

и другое сразу. Граф держал на руке шиншилловый палантин, который он таскал весь день, поджидая, когда с наступлением сумерек можно будет накинуть его на плечи Ее Величества...

В чем зло? В чем добро? Давид поднялся на площадку перед монастырем Тринита деи Монти и, обернувшись, посмотрел на город, что тонул во мраке, вспыхивая кое-где факелами и огоньками окон... Трагедия Каролины! Много ли значила она, когда вся Европа, и Африка, и Передняя Азия дрожали под копытами коней Буонапарте? И он еще раз подумал о родном Анже, о тайных сходках на улице близ собора... Однажды там, в соборе, появится статуя Цецилии, она будет касаться пальцами нагрудного креста, как в ту сентябрьскую ночь на виа Куатро Фонтане...

В чем добро? В чем зло? Все величие Наполеона стало ничемным, как вконец затрепанное знамя. Торгаши и монахи заполняли лестницы пьяцца ди Спанья. Внизу, в Ватикане, Пия VII стерегут солдаты Франца II. Что стало бы с его товарищами по Школе, если бы Давиду удалось увлечь их на родину во время французской кампании? Ничего не скажешь, новости из Парижа стоят новостей из Лондона! И дела-то всего, что какую-то маленькую принцессу запирают в ее золоченую тюрьму, ибо она верит, будто у нее есть сердце! Больше ничего не поймешь из того, что пишут люди. Утверждают, будто в хартии Людовика XVIII заключается все наследие революции... А Мюрат? Мюрат, который в июне прошлого года убеждал своих солдат: «Император жаждет только войны. Я предал бы интересы моей бывшей родины, интересы моих государств и ваши интересы, если бы сразу же не отделил свои войска от войск императора, чтобы присоединиться к коалиции армий союзных держав...» Однако поговаривают, что на конгрессе в Вене Людовик XVIII просил отречения, если, конечно, верить итальянцам... тем, с кем Давид встречается, как с «равными» в Анже... О Италия, Италия! Если бы молодой француз мог помочь тебе, родина Эмилио и Цецилии, добиться независимости! Этой осенью Эмилио и Давид поняли, что оба дали одинаковую клятву, ведь «Ложа Братской Нежности» в Анже также относилась к шотландскому ритуалу... Произошло это потому, что папа за-

претил масонские ложи. Разве после этого мог Давид изменить своей клятве? Речь идет о чести! Ну а Мюрат? В чем же добро и в чем зло? Они утверждают, будто в Мюрате надежда Италии... Кое-кто из них когда-то также слепо верил в Наполеона...

Давид ощущал какую-то смутную ревность к красивому, затянутому в бархат кавалеру, высокому и с тем огнем в глазах, который нравится женщинам... А мне не нравятся его глаза. Давид ведь был маленьким, некрасивым... Правда, не таким маленьким, как его друг Энгр. Неужели, с горечью подумал Давид, в этом кроется причина тех чувств, которые питает он к своему другу... глупости какие-то!

Он последний раз взглянул на Рим, повернулся и пошел в сторону виа Грегориана. Повсюду в городе звонили колокола. В этот час Доминик наверняка дома.

Шекспир в мебелирашках

Хватит с меня гостиниц. В номере ни для чего не найти места. Взять хоть моего Шекспира. Тринадцать томиков. Если положить в шифоньер, только и знай, что открывать да закрывать дверцу, вдобавок еще никогда не известно, в каком именно томе нужная пьеса... Остается поставить на камин, но номера с камином попадают все реже. Вдобавок хозяева гостиниц. Соседи, которые заглядывают в гости. Ну, это, положим, как когда. Снимая комнату, не сразу понимаешь, какого разбора гостиница. А все отец. Он внушил нам с Франсуа ложные представления, в Сан-Бриеке. Папа у меня учитель английского. Сам я английским так и не овладел. «Water-closets, if you please»* или девушке: «Ваш pull-over, мадемуазель, чертовски sexy»** — вот и весь мой запас, зато произношение, говорят, у меня отличное. Поэтому я так обрадовался, когда Поль оставил мне своего Шекспира... в подлиннике-то мне б его ни за что не прочесть... А на кой ему, Полю, по-вашему, сдался Шекспир, раз его призвали, да еще во время этой войны? Ну, а Франсуа был по горло сыт Пуатье и Папой с его бесконечными объяснениями, как себя вести, чтоб не сделать ненароком ребенка. Старику страх как хотелось, чтоб считали, будто он был донжуаном. Нет, говорил Франсуа, ты только подумай — донжуан, этот училка, надо же. Отец до противного похож на меня, даже неловко, будто это я его породил. Как представишь себя в его возрасте, с брюшком... насчет усов я спокоен, усы мне не грозят — я их терпеть не могу. Врач, например, неплохой человек в конце концов, тот, что признал меня непригодным из-за сердца, вроде

* Уборные... пожалуйста (англ.).

** Ваш свитер, мадемуазель, чертовски сексапилен (англ.).

бы у меня всего один желудочек. А я и не замечал. Так вот, он меня выслушал через свою эбонитовую фиговину, а потом говорит — бог дал человеку уши, чтоб слышать, и прижал ухо к моей груди, а они — усы — как защекочат меня, им — врачам — должны были бы запретить, но, в общем, я рад, на черта мне армия. А что до желудочка, то пока я выдерживаю стометровку, летом — теннис, в Париже — пинг-понг... Франсуа-то твердит: подумаешь, отслужить — не море выпить, но ему хорошо говорить, он свое отпахал еще до того, как начался весь этот мордобой. У него одно было в голове, как бы слинять из Сан-Бриека, ну, он и пошел служить в страховую компанию с центром в Тулузе, желаю ему удачи. А я столько наслышался о Париже, и Мама говорила, что быть адвокатом — совсем даже неплохо, на худой конец помощником прокурора, вполне приятная жизнь. Ее супруг, исходя из того, что я похож на него как две капли воды, весьма опасался моей склонности к девицам... Заметьте, Папа приводит меня в умиление. Но он внушил нам ложные представления, Мама всегда мне твердила: «Верь, верь папиным рассказам!» Во всяком случае, ему не следовало вбивать нам в голову всякие предрассудки вроде того, что нельзя приводить домой женщин, чушь допотопная. Во-первых, гостиница — лишний расход, а у меня от денег карманы не лопаются. В особенности пока я был еще студентом. И вот все эти книги и по международному праву, и по политической экономии, да еще Шекспир: на моем mantle-piece*... сам черт голову бы сломил. А, вот и еще одно слово из моего английского лексикона, видите. Хотя для таких особ, как, например, мадам Симпсон... Вы что подумали? Никакого отношения к герцогине она не имеет: сама она родилась в Марселе, а муж у нее — дитя любви, с той еще войны, впоследствии отец-американец признал его. Что проку от английского? Сами понимаете, чтоб говорить с Клотильдой, словаря мне не надо. Но она, видите ли, из-за мужа не желала идти домой к студенту, ей необходима была нейтральная территория, пусть даже гостиница... Так что я перебрался из Латинского квартала в

* каминной полке (англ.).

переулочек поблизости от Фоли-Бержер, это было не слишком практично, далековато от факультета, но ничего не попишешь; обосновался я в доме, где большинство снимало номер на день, в комнате с красивым cosy-corner*, с полочкой, очень удобной для Шекспира, но от Клотильды все это скрыл. Я привел ее туда, припрятав свою юриспруденцию, свалил книги в стеной шкаф, как будто... ну, вы меня поняли. Она нашла обстановку очень симпатичной, и ее позабавило, что номер сдают с Шекспиром на этажерке cosy. Тут я несколько встревожился, в особенности когда она схватила томик с «Макбетом» и, признавшись, что всегда мечтала стать трагической актрисой, принялась, жестикулируя, декламировать каким-то чужим голосом: она изображала саму леди Макбет, спускалась по лестнице дворца, погруженного в сон, терла пальцы, чтоб очистить их от крови. Я увидел, что она переворачивает страницу... Тут я позволил себе весьма неуместную шутку — сказал, что могу, если она хочет, сбегать за пемзой. Истерика мне была обеспечена, но Шекспира она оставила в покое. Больше я ее не видел. Такие дела — женщины всегда меня бросают, а я между тем склонен к постоянству...

Необходимо объяснить, что у меня сложилась привычка хранить любовную переписку в своем Шекспире, чтоб коридорный не заглядывал в нее, убирая комнату. И раскладывал я письма не по женщинам, а по сюжетам, например, сцены ревности — в «Отелло», просьбы о деньгах — и такие случаются — в «Венецианского купца», в полном соответствии с содержанием. В те времена мне нравились главным образом дамы в соку... И вот как раз в «Макбете» было заложено письмо, компрометировавшее одну из них, которая... ну, это ее дело, не буду рассказывать, иначе у вас сложится обо мне превратное представление. Мне приходилось менять своих подружек, поскольку через месяц или два, а то и меньше они находили, что с них хватит. Я не из тех, кто цепляется, не травиться же мне из-за них вероналом. Я думаю, Папа, в сущности... может, и с ним происходило то же самое, раз уж мы

* угловым диванчиком на двоих (англ.).

так похожи, вот почему, когда он рассказывает, то выглядит донжуаном. Пожалуй, я мог бы держать у себя сочинения Мольера, они и места бы заняли меньше... но, во-первых, Шекспир оказался у меня без всякой задней мысли, а во-вторых, письма, если их засунуть в двухтомник, бросались бы слишком в глаза. После мадам Симпсон я напал на гораздо более юную девушку; она училась на фармацевтическом и разыгрывала великую любовь ко мне, я называл ее Офелией, поэтому она закалывала цветы себе в прическу, а я совал ее письма в «Гамлета». Ладно. Не прошло и трех недель с тех пор, как начался наш роман, и вдруг она говорит мне с каким-то разочарованным видом: «Какие у тебя маленькие руки». Прежде всего, это ложь, у меня руки как руки, ничего особенного. И потом, как предлог, этого, по-моему, недостаточно. Некоторое время спустя я встретил ее в «Пам-Пам» у Оперы с молодчиком, похожим на мясника, она обернулась и подмигнула мне, словно хотела сказать: «Ну, понял?» Да уж, у этого были лапищи так лапищи.

Кажется, он крупный писатель, издается у Жюльера. Итак, серия продолжалась... не буду описывать вам все детали, тем более что вскоре появилась Ивонна.

Я эмигрировал в Седьмой округ, к военным*. Снимать cosy понедельно было дороговато, а мои карманные деньги, сами понимаете, того... Странное дело, Папа вовсе не скупердяй, ну, может, как говорится, немного прижимист, но это как бы для профилактики, понимаете, у него были свои представления в этой области, не следует, мол, давать молодым людям слишком много, а не то они привыкнут, ну вроде как не надо зимой кутаться в шерсть, чтоб закалиться. Нужда, говорил папаша, жизни учит. Но порой он смягчался, в особенности когда я говорил ему, что у меня деньги текут, как песок сквозь пальцы, так что я все равно не успею привыкнуть. Он уже почти решился выложить мне монету на мотороллер «веспа», и я тратил большую часть времени, свободного от лекций, на то, чтоб листать каталоги и сравнивать проспекты. И вот пока я был погружен

* Вокруг Шан-де-Марс в VII округе Парижа многие улицы названы в честь военачальников.

в это занятие, Ивонна бесцеремонно открыла «Виндзорских кумушек» и обнаружила достаточно красноречивое письмо мадам Симпсон, которое не было датировано, и налетела на меня, что еще за Клотильда. Пришлось рассказать ей о мадам Симпсон, чтоб она успокоилась, но она так мне и не поверила, хотя я честью поклялся, что не наставлял рога дядюшке английской королевы. О чем это я? Ах да, тут как раз газеты — поскольку морской змей уже поднадоел — напустились на молодежь: и тебе то, и тебе другое, пьянки, сексуальная распущенность, аморалка, игорные автоматы, стриптиз — всего не упомнишь, короче, они настолько запудрили всем мозги, что на ребят пятнадцати-шестнадцати лет стали косо смотреть на улице, пошли разговоры о «черных куртках», о том, что два или три парня якобы резали девочек на куски, а виноваты во всем родители, поскольку дают ребятам слишком много денег; взяли интервью у одной-двух матерей, а те несли такое, что просто уши вянут, и это стало общим местом. Вот Папа и написал мне, что я могу подтянуть ремень потуже, насчет «веспы», а не то потом, когда меня гильотинируют, на него всех собак станут вешать. Я не мог в себя прийти от изумления, что умный человек клюнул на такой крючок, и имел неосторожность показать письмо Ивонне. Не прошло и сорока восьми часов, как она сумела отыскать себе пижона с «веспой», и они носились вдвоем взад-вперед между улицей Цезаря Франка и площадью Камбронна, так что мне опротивел этот квартал, и я нашел себе халупу подальше, в Пятнадцатом округе. Поскольку мне было одиноко, я открыл Шекспира, на «Короле Лире»; если хотите знать, мне здорово прихлилось по душе девочки этого старого зануды. Я тоже обдумывал, как поступить, если, закалки ради, старик срежет мне субсидии. Пока что я послал письмо в «Франс-суар», где отлаивал фрэера, который специализировался на детской преступности. Хорошо проработанное письмо с несколькими цитатами из Шекспира, чтоб сделать вид, будто я делаю вид: ну, а Генрих V в первой части, а Фальстаф и вся их шайка-лейка, это кто, по-вашему, «черные куртки», хулиганье или нет? И вот, вообразите, они его опубликовали, и посыпались письма. Мое письмо наводило

молодежь на разные мысли, один даже написал: «А мой Король Лир...» — и, хотя кому-то не понравился мой рискованный каламбур (*toupie* or *not toupie*)*, столь непринужденное владение британской поэзией придавало определенный шик молодому поколению.

Управляющий моей тогдашней гостиницей, здоровенный верзила, несколько жирноватый, с бледной и плоской, как блин, физиономией, носивший шейный платок и тапочки, гнезвился в бельэтаже и по вечерам выводил помочиться на тротуар свою шавку совершенно непропорционального сложения — нечто вроде длинношерстной таксы, не достававшей ему до щиколотки. Он набросился на меня, когда я вешал ключ на доску, пришло как раз письмо из Сан-Бриека, от матери. Ему, видите ли, понадобилось прочесть мне нотацию, что его заведение на лучшем счету в округе и что мой образ жизни мог еще сойти, куда ни шло, пока не было привлечено внимание к моей персоне, но никак не теперь, когда я печатаюсь в газетах. А что в нем такого, в моем образе жизни? Я не понимал. Да то, просто-напросто, что я принимаю у себя разных особ, заявил этот тюремщик. Почему бы нет? Я не регистрировался у него как монах, так что особы — мое право, но это множественное число... я как раз находился в периоде стабильности, после Ивонны у меня была только Жозефина, вот уже три месяца. Говоря с ним, я ощутил даже какой-то зуд — а уж не бросить ли мне самому, для разнообразия, эту малютку, просто чтоб доказать себе, что можно изменить порядок, однако речь шла о другом. «Вы регистрировались у меня, — говорит этот тип, держа на руках своего пса, до чего же у этих животных трогательное пузо, — как студент юридического факультета, а не как журналист... К тому же мои клиенты отнюдь не обязаны узнавать эту особу, когда она приходит, может, это вовсе не она, а другая...» Тонкий был тип, при его-то комплекции. Он хотел убить разом двух зайцев. В конце концов он проговорился. Оказывается, полиция интересовалась мной из-за письма в «Франс-суар», они узрели нечто ненормальное

* «to be or not to be» (англ.) — цитата из «Гамлета»: «Быть или не быть» и «toupie» (франц.) — «волчок» близки по звучанию.

в том, что я защищаю ребят, и хотели выведать, с кем я знакомь, не посещает ли меня хулиганье. Это был заяц № 1, поскольку мой сосед как-то вечером пожаловался на шум у меня, в порядке исключения мы пришли вчетвером с бутылкой и чипсами, ничего тут нет такого, просто Аженор, который был со своей девочкой, захотел почитать нам стихи, ясное дело, что от этого шум, раз он имитирует вагон-ресторан с помощью придуманных им самим слов, и в особенности, конечно, из-за тигра: мне не очень понятно, почему у него в стихах всегда бывает тигр, который проходит мимо, но Аженор говорит, будто тигр — метафора. В конце концов все это не имело ни малейшего отношения к «черным курткам»; но тут-то и вылезло ухо зайца № 2 на шмоте сала, служившем управляющему лицом: он намекнул, что было бы недурно, если б я поселился вместе со своей дамой, он не настаивал, чтоб непременно с Жозефиной, но, в общем, если бы эта особа обитала здесь на полных правах, никто из жильцов не мог бы сказать, что я принимаю у себя женщин, и тем самым у полиции была бы выбита из-под ног почва для всяких недоброжелательных инсинуаций, короче, он так заботился о моей репутации, что просто плакать хочется. Я почувствовал себя чем-то вроде псины-сосиски, которую он держал на руках. Заметьте, мне и самому нечто подобное приходило на ум: девочка училась в Высшей школе политических наук, у нее не было никого, кроме бабушки в деревне, ее бы вполне устроило не платить отдельно за комнату, так что за независимость держался скорее я сам, все из-за тех же сан-бриекских предрассудков. В стихах Аженора шума от этого не убавилось бы... но вагон-ресторан был исключением. Вдруг до меня дошло, в чем второй заяц: этот хитрый толстяк просто хотел сдать мне номер на двоих, чтоб содрать побольше. Ну, меня не проведешь, я в возмущении поведал эту историю своей подруге, а она, Жозефина, залепила мне пощечину, и снова я оказался брошенным. А я-то надеялся, что с таким именем...

Но в результате меня осенило: раз уж с женщинами у меня не получается, брошу-ка я факультет. Успех моего письма о «черных куртках», интерес, который проявила к нему по-

лиция... почему не рискнуть? Так я и стал журналистом. Поначалу не признаваясь родителям, чтоб не потерять карманных денег, я пошел работать в газетенку, созданную по каким-то темным политическим соображениям, хотя говорилось в ней только о претендентках в кинозвезды, о Брижитт и Сорае. За гроши, но что вы хотите, я ведь был дебютантом. Управляющий с блинной физиономией неодобрительно косился на меня и даже посмел сказать, как бы невзначай: «Что-то ее давно не видать... мадемуазель...» А он что нос сует? И, чтоб пресечь дальнейший разговор, я отрезал: «Мы больше не видимся...» Побледнеть он не мог, так как рожа у него и без того была бледней некуда, но так и перекосялся от злости — лопнула надежда содрать с меня лишнее. После этого он искал только предлог, тут-то и подвернулся посыльный, когда я занимался репортажем о проституции в «ягуарах» вокруг площади Мадлен. Две первые статьи (пятьдесят строк, приходится писать сжато, таков стиль газеты: быть кратким, чтоб не утомлять публику, которая и так из-за всех этих событий...) прошли на ура; вот мне и заказали разворот. Газета, разумеется, у нас малого формата. «Писать можешь дома, но чтоб утром материал был у меня на столе,— сказал мне главный редактор,— потому что это слишком серьезно, нельзя выпустить на полосу, не показав Фантомасу...» Фантомасом у нас прозвали хозяина, который уже вложил в это дело миллиончик и взял себе за правило не показываться в редакции после полудня, когда приходили мы. Он заявлялся поутру, верхом, по дороге в Булонский лес, где делал круг для сохранения фигуры. Так что посыльный притопал за сочинением ни свет ни заря, когда все еще дрыхли, шавка залаяла, управляющий поднялся, в серой с розовым пижаме, ни дать ни взять паштет из дичи, выяснить, что случилось. Этот дурень — дело было в июне и случайно стояли жаркие дни — не нашел ничего умнее, как вырядиться в шорты и спросить меня, даже не выплюнув жвачку. Жирнюга не разобрал, заставил повторить. Теперь уж не было сомнений — ко мне наведываются «черные куртки». Ну и наслушался я: «Посыльный из вашей газеты... вы за кого меня принимаете? Не мо-

рочьте мне голову с вашим посыльным. И с каких это пор у вас есть газета? Вы у меня прописаны как студент с юридического... И ничего другого я знать не желаю; мне ни к чему полицейские, от которых не отвяжешься, если они обнаружат, что я сдаю комнаты мнимым студентам. Да уж не коммунист ли вы?»

Я давно смирился с тем, что меня бросают женщины, но не хватало только, чтоб меня вышвыривали хозяева гостиниц, это уж слишком; сниму-ка я себе студию на Монпарнасе. И пусть мои письма валяются где попало, черт с ней, с уборщицей. Для Ромео и Джульетты там будет антресоль. Дело за немногим — найти ее. Я имею в виду Джульетту.

Поджог

Тут-то и начинается история. С чего? Это вроде как с кастрюлей — с ручки или со штуковины, где все варится? Иначе говоря — с человека или с огня?

Об огне. Три года хотели расторгнуть страховой договор от пожара. На загородный дом. Поскольку был уже заключен другой, другой договор на страховку от любого нанесенного ущерба — с другой компанией. Первая называлась «Пар-фёреюни».

Сперва все забывали написать. Потом как-то засомневались. Какой лучше. Куда же его засунули, этот договор... Время шло, листочки сыпались дождем. В итоге, да не так уж и в итоге... Я хочу сказать, что уже после этого сделали еще один взнос. Так. Зашли к нотариусу. Тамошнему нотариусу. Через которого покупали дом. Я все вам устрою. Еще один счет, подумали, ну, сколько надо, столько надо — я имею в виду время. Еще несколько кварталов. Листочки. Снова пошли к нотариусу. Он проверил свои бумаги. Я вам все устрою. Устрой же, наконец. День за днем... Прошло даже не два, а три года.

И вдруг письмо. «Полис «Пожар» № 9 427 452: имеем честь уведомить Вас, что по просьбе г-на *Инфантисида*, нотариуса, и с веденія Вашего страхового агента-консультанта... и т. д. ... мы согласны считать вышеозначенный полис расторгнутым, начиная с ... Настоящим письмом *в соответствии с выраженным пожеланием*, мы Вам это удостоверяем. За Вами, однако, остается сумма страхового взноса за время с 6 января 1965 по 6 января 1966 в размере Ф. 3,41, которую мы просим Вас погасить в течение ближайших двух недель...»

Ладно. Тут-то и начинается история.

Допустим, существует Персонаж. Какого возраста? Рыжий, седеющий? Во всяком случае, у него есть страховой полис от пожара, и он хочет от него избавиться. Два года он бьется попусту. Нет, три. Теряет надежду, что г-н Инфантисид вообще способен чего-нибудь добиться. Начинает думать, уж не подстроено ли все это, чтоб вынудить его по-прежнему оплачивать ежеквартальные листочки.

Но Ф.3,41 его доконали. Эти Ф.3,41 переполнили чашу. Вот уже три года, как он не хочет платить. И еще в двухнедельный срок, наглость какая. Вдобавок в августе. Отпускное время. Он мог бы быть в Энгандине или где-нибудь еще, гораздо дальше, в одной из тех стран, куда письма вообще не доходят, даже если их пересылают. На острове. И почту доставляют только самолетом.

У Персонажа решительно нет никакого желания выписывать чек на Ф.3,41. Он требует по телефону, чтоб ему послали инкассатора на дом, пусть получит сумму наличными.

«Пар-фё реюни» удивляется, но никак не реагирует. Не беспокоить же инкассатора из-за каких-то Ф.3,41... только этого не хватало! Они их ждут — свои три франка запятая сорок один (очевидно, сантим). Не получают. По истечении двух недель считают, что посланное ими письмо более не соответствует выраженному пожеланию. Требуют свои Ф.3,41. Сообщают, что, не получив их, будут полагать решение не имевшим места. Проходит три месяца. Персонаж получает уведомление о выплате очередного взноса. Он сердится. Он задыхается. Звонит по телефону: собеседник ничего не понимает, я хочу сказать, совершенно ничего, передает трубку кому-то, кто тоже не в курсе, понимает не больше первого, я хочу сказать, совершенно ничего не понимает, короче, в полном недоумении и переключает телефон на Высокопоставленное Лицо Компании. Этот Высокопоставленный чрезвычайно вежливо, но достаточно твердо резюмирует положение, юридическую позицию «Пар-фё реюни»: либо наши Ф.3,41, либо вы остаетесь застрахованным у нас. Впрочем, сейчас речь идет уже не о Ф.3,41, за вами также следующий взнос, то есть плюс еще Ф.3,41.

Тут Персонаж взрывается. Он сам не знает, что несет, например: «Мне это, в конце концов, надоело, меня никто не приговаривал вносить вам деньги. А представьте себе, допустим — это мое право,— если мне вздумается подпалить свою халупу, что тогда? У меня нет никакого желания, чтоб меня затаскали по судам, обвиняя в том, что я хотел получить по страховке...»

На этом Высокопоставленное Лицо вешает трубку.

Ряд аномальных явлений. Портится телефон. Невероятное множество людей, попадающих не по тому номеру. Визит привратника в сопровождении двух сомнительных молодчиков, которые интересуются, не посещают ли Персонажа выходцы то ли из Марокко, то ли из Чехословакии, не знаю уж точно. Монтер, которого не вызывали, слесарь, который вертит задом, якобы посланный управляющим, чтоб проверить водопровод. Он задерживается. От него разит мускусом или еще какими-то духами. Персонаж, у которого нет времени, уходит по своим делам, обычным в его возрасте. Вернувшись, он видит в своей спальне пару ног, торчащих из-под кровати, брюки задрались, так что видны лодыжки. Выбритые. Возможно, это велосипедист. Нет — слесарь. «Что вы там возитесь, мой мальчик?» Тот негодует: «Ни с кем я не вожусь, это не в моем стиле...» Хорошо, но все-таки?

Якобы он прочищал канализационные трубы. Под кроватью? Вы что, издеваетесь надо мной? Хватит, проваливайте! Тот слинял, чертыхаясь. Персонажу сначала даже в голову не пришло заглянуть под кровать. Он устал и тут же плюхнулся в постель, только и успел, что стянул с себя пиджак, наполовину вывернув наизнанку рукава... Это уже проснувшись он сообразил, лег на живот и заглянул под тюфяк: без труда нашел микрофон. Будь я проклят, какого черта этому слесарю нужно знать, о чем я думаю под одеялом?

От представителей всевозможных фирм просто отбоя не было. Никогда еще нашему герою не предлагали в кредит столько всяких приборов и собраний сочинений Кардинала де Ретца или Казановы де Сенгаля в твердом переплете.

На сказочно выгодных условиях. Электронные устройства. Предметы, притягательность которых была в их полной бесполезности. Иллюстрированные альбомы с очаровательными особами, альбомы раскрывались, обнажая внутренние органы. Весьма познавательно, у вас есть дети? Если это вам не по вкусу, могу предложить модели мужского пола. Нет? Тем хуже. А у вас все в порядке? Если предпочитаете, имеются также изделия из резины, очень удобные в дороге. Мой друг, советую вам упаковать ваш товар, а вот дверь, видите? Ладно, ладно, раз вы такой недотрога. Извините, мсье.

Дверь хлопает.

Дело все же прояснилось, когда появился небритый, оттолкнул Персонажа в сторону и стал обшаривать все углы в поисках неизвестно чего, предъявив свое полицейское удостоверение. В конце-то концов, объясните мне, что всем вам надо?

Тот рыскал. Всем, сказал он, не знаю... а были другие? Вечно одно и то же: мешают мне работать. И тут вдруг воскликнул: «А, вот оно!» Да что? — спрашивает Персонаж. Этот тип засунул большой и указательный пальцы, отнюдь не лучший вид пинцета, в вазочку, покрытую голубой перегородчатой эмалью, подарок смуглой дамы, у которой были неровные зубы. Но это детали, которые не играют роли. Незванный гость между тем исторг оттуда обыкновенный коробок шведских спичек и, потрясая им в воздухе: «А, вот оно!» Ну, коробок, действительно, что с того? Это спички. Тот торжествовал победу: «Спички! Вот именно, мой милый!»

Персонаж ничего не мог понять, но когда субъект вздумал унести коробок, вдруг обозлился. Собственническое чувство, что ли. Послушайте-ка, вы, а ну положите мои спички на камин; тот ноль внимания, отстранил хозяина дома своей мощной правой дланью, держа спички в левой руке, и обернулся только на лестничной площадке, с издевкой: «Вот оно!» Что хотел он сказать этим *ОНО*? Тот уже спускался по лестнице. Персонаж наклонился, перегнувшись через перила: что оно? И этот тип, уже этажом ниже, обернулся, потряс коробком, зажатым между большим и указательным пальцами: «Вещест-

венное доказательство, мой милый, вещественное доказательство!»

Развитие сюжета требует, чтоб Персонаж сначала был вызван в полицейский комиссариат по месту жительства. Там некий субъект, заставив его долго ждать, пока сам занимался за балюстрадой чисткой и подпиливанием ногтей, наконец обратил на него внимание и указал на предмет, валявшийся на столе: «Вы узнаете это?» Шведские спички. Но кто докажет, что это те же самые? Шведские спички продаются в любой табачной лавке. Чиновник морщит подозрительный нос. «И часто вы наносите визиты в табачные лавки?» — «В зависимости от того, что вы понимаете под выражением наносить визит, поскольку...» — «А ну, без сальностей, прекратите! Когда я говорю «наносить визит», я говорю наносить визит и не имею в виду шлюх...»

При чем тут шлюхи? Наносят визиты скорее молодым девушкам, дамам.

«Я спрашиваю вас, знакомо вам это? Отвечайте».

Это что, как на плебисците? Надо бы еще выяснить, что именно он имеет в виду под «знакомо». Природу этого объекта, его предназначение или некий *определенный* коробок спичек, именно этот, а не другой, именно тот, который в тот день тот тип... Лучше уж признаться. И если этот коробок спичек мне знаком, то...

«С этой минуты каждое слово, сказанное вами, может быть использовано против вас, будьте внимательны... Ваше право, впрочем, если угодно, потребовать присутствия адвоката!» Ну, раз уж у него было это право, он потребовал.

Когда его повели во Дворец правосудия, надев наручники, и протестовать было бесполезно, Персонаж мало-помалу понял, что на него подана жалоба, но кем? Он совершенно терялся. Можно было только строить предположения о причастности (в частности) к этому слесаря. Или торгового представителя, который предлагал ножички для обрезания сигар. Или небритого. А, вот оно. Однако он не мог получить никаких разъяснений, пока не оказался в кабинете следова-

теля; вместе со своим адвокатом. Адвокат говорил ему: лучше вам признаться, и поскольку он никак не мог взять в толк, тот вздыхал: «Прямо беда с такими клиентами! То, что у вас обнаружили коробок спичек, это в конце концов не так уж серьезно. Немало людей находится в том же положении. Говорят, шведские спички, но на самом деле они выпущены во Франции. ...Ну вот! Поэтому лучше уж сразу признаться». Персонажу все это казалось странным. В сущности, он отнюдь не был убежден, что это тот самый коробок, но раз уж им так хочется. Коробок, впрочем, совершенно новый. Когда ему протянули коробок, тот оказался совсем невесомым. Он открыл его. Там осталось всего две, три спички. Мой был полон, сказал он. «Это еще надо доказать,— сказал следователь,— и потом, если вы даже докажете, что он был полным, что это докажет?»

В самом деле, что это докажет? «Вот тут-то и зарыта собака,— сказал великий инквизитор,— в нашем деле недостаточно найти доказательства, нужно еще знать, что они, эти доказательства, доказывают. Если вы полагаете, будто это легко. Например, если коробок полон, можно сделать заключение: либо что он непечат, либо что его специально наполнили после, чтобы нельзя было понять, сколькими спичками воспользовались. Понимаете, что я хочу сказать? Заметьте, я очень хорошо знал вашего отца, когда вы были еще совсем малюткой, и это заставляет меня быть снисходительным, но...»

Тут Персонаж сделал промах. Он сказал: «Вы знали моего отца? В таком случае с вашей стороны было бы весьма любезно представить его мне, поскольку перед моей бедной матерью он только промелькнул...» Следователя это рассердило. Ну не стыдно ли в *создавшемся положении* отягчать ваше дело непристойными высказываниями, оскорбительными для вашей матушки, которая могла совершить в юности ошибку, но в настоящее время оплакивает в своей деревушке в Морване позор сына.

«Деревушка в Морване?»— сказал Персонаж. Но кто ему позволит утверждать, что его мать вот уж десять лет покоится на кладбище в Тие. Это было бы уж слишком.

Если я правильно понимаю то, что произошло, Персонаж некоторое время находился под надзором полиции, а затем был арестован и обвинен в преднамеренном поджоге. Но что он поджег? Когда он спрашивает об этом, ему смеются в лицо: ну и наглец! И только много времени спустя после начала следствия он наконец выяснит, что подпалил собственный дом в Ивлине. Дом-то у него в Эссоне, но кого это волнует? И дело даже не в этом. Если его дом сгорел, ему необходимо поехать туда, чтоб посмотреть, какой нанесен урон... впрочем, он застрахован.

«То-то и оно,— сказал следователь,— вы желаете сами подсчитать, сколько должны вам выплатить по страховке...»

У этого судейского полно задних мыслей. К чему относится его «то-то и оно»? Даже не объясняет. Ему это представляется само собой разумеющимся. И если Персонаж делает вид, будто не понимает... Избавлю вас от деталей.

Короче, полиция получила жалобу от страховой компании «Пар-фё реюни», что один из ее клиентов нечаянно проговорился о намерении поджечь свой собственный загородный дом в Эссоне... да нет, в Ивлине... чтоб получить по страховке. За подозреваемым было установлено наблюдение, но, очевидно, недостаточно серьезное, поскольку в одну прекрасную ночь лачуга загорелась. Поэтому Персонаж был арестован, не успев продрать глаза. Ага, попались, теперь вы в наших руках. Но почему?— сказал он.

Если бы он читал вечерние газеты, то узнал бы, что он — пироман. Да только вечерних газет ему не дали.

Здесь приходится пересмотреть всю эту историю.

Поскольку, если Персонажу неизвестно, что он поджег свой загородный дом, концы с концами не сходятся.

Подожгли его д... кто ж тогда? Ищите, кому это преступление выгодно. Совершенно очевидно, что, если не считать его самого, в пожаре заинтересована только «Пар-фё реюни». Как?

Да так.

Следователю и в голову не приходит, что преступником мо-

жет быть тот, кто навел его на след Персонажа. Иначе говоря, Высокопоставленное Лицо Компании. Или, если не оно само, кто-то из его окружения, из его фирмы, агент, сообщник, телеуправляемый или ставший игрушкой собственного воображения; потому что, если здраво поразмыслить, Страхование от Пожара вполне может породить у тех, чья голова, чья повседневная жизнь заняты этой заботой, своего рода навязчивую идею огня, своего рода преступную извращенность. Как известно, немало пироманов уже было обнаружено среди пожарных: подобно генералам, которые готовы развязать войну из-за пустяка, эти brave ребята *горят* желанием отличиться, проявить отвагу, героизм, а пожаров не хватает, чтоб реально заполнить их жизнь, им остается только грезить о подвигах, и эти мечты мало-помалу до такой степени овладевают их фантазией, что они готовы сами спровоцировать подходящую возможность.

Но кто мог направить подозрение именно в этом направлении, породить эту гипотезу в недалеком уме судейского чиновника? Есть несколько возможностей. К примеру, пожарный, рассуждающий по аналогии со смутными наклонностями, которые он обнаруживает в себе самом, и, возможно, чтобы избавиться, пока еще есть время, от опасного соблазна, который, как он чувствует, манит его все сильнее. Да кто угодно еще. Романист, почему бы нет? Философ. Дама, преждевременно упустившая время любви... Преподаватель греческого языка в провинциальном городишке, который видит неотвратимое приближение эпохи, когда государству более не понадобятся его знания... Как знать? Духовное безделье благоприятствует тому, что в самых разных головах расцветают гипотетические решения непредсказуемых проблем. Есть такие любители мастерить в уме, которым и воскресенья не нужно, чтоб заняться теорией — и практикой — всяких ужасов.

Впрочем, разве идея, что дом Персонажа в Ивлине, а не в Эссоне, если только не наоборот, был обращен в пепел не его владельцем, а кем-то другим, не вполне естественна? И, подобно духу, она может явить себя, где хочет. Веять, где хочет, как говорится.

Все же круг возможных пироманов, которые могли посягнуть на это сельское владение, ограничивается, прежде всего тем, что злоумышленник должен был быть в курсе событий, я имею в виду — пожара, ареста и обвинения Персонажа, а также источника разоблачения, которым являлось, очевидно, Высокопоставленное Лицо «Пар-фё реюни», поскольку лишь оно слышало неосторожное заявление раздраженного клиента по телефону... Но все это! Ведь если даже исходить из того, что Высокопоставленное Лицо не сохранило вышеупомянутое заявление в тайне, отсюда вовсе еще не вытекает, что оно поспешило поделиться им непременно со следователем или с полицией: оно могло облегчиться перед кем угодно. И этот кто угодно в равной степени может быть служащим компании, другом, его женой, просто случайным знакомым, соседом по столику в кафе, в общем, число возможных поджигателей растет...

Необходимо, значит, сделать выбор.

Следует учесть еще одно обстоятельство.

Подозреваемому необходимо было добраться в ночь, когда возник пожар, в Эссон или Ивлин, и тот факт, что в нашем сознании нет определенности относительно точного местоположения подожженного дома, затрудняет также определение положения пиромана. Если это и был пироман. Потому что, в конце концов, хотя по теории вероятности виновником пожара скорее всего был маньяк, для которого в поджоге нет ничего нового, приходится все же признать, что, возможно, поджигатель в данном случае впервые поддался наклонности, до сих пор им подавляемой, а то и вообще может рассматриваться как пироман после своего яркого дебюта, только в том случае, если единичный акт, имевший место в Ивлоне, я хотел сказать в Эссине, будет впоследствии повторен. У всего есть начало. В один прекрасный день наш таинственный злоумышленник будет, возможно, уличен и вынужден сознаться в этом преступлении в связи с загоревшейся табачной лавкой, или театром, или еще каким-нибудь зданием, но те, кто выслушает его повинную, как ни будут они спешить,

уже не успеют вовремя снять вину с Персонажа, который накануне или даже в утро того же дня повесится в камере, куда он был заключен по приговору, вынесенному в результате чисто внешних совпадений, и обвинению, опиравшемуся только на ироническую фразу, сказанную по телефону.

Если мы склонны возложить ответственность за эту ужасную трагедию на Высокопоставленное Лицо и так далее, то потому лишь, что тем самым уменьшается вероятность ошибки. Во-первых, В. Л. непосредственно слышало неосторожно вырвавшиеся слова. Во-вторых, оно обладает всеми данными проблемы или может получить их, не привлекая внимания: досье застрахованного, письма, которые были ему адресованы, и, следовательно, адрес или адреса в Париже и за городом. В-третьих, у всякого В. Л., безусловно, имеется машина. Конечно, тут может потребоваться сообщничество шофера. Но разве исключено, что в известных обстоятельствах, к примеру нарушая супружескую верность, вышеупомянутое В. Л. предпочитает вести машину само? Как бы там ни было, ничто ему не препятствует.

Это становится все более и более вероятным. Прежде всего потому, что обеспеченная безнаказанность создает непреодолимое искушение выйти за рамки морали и законности. Положение Президента — Генерального Директора Компании, страхующей от пожара, дает пироману, будь он дебютант или рецидивист, максимальную возможность остаться вне подозрений. Мне хорошо, конечно, известно, что если начать систематически брать под подозрение людей, которые вне подозрений, можно далеко зайти. Пришлось бы начать с Президента Республики. Но позвольте мне выступить в качестве адвоката этого последнего: не спорю, он располагает безграничными возможностями узнать подоплеку любого дела, находящегося в руках полиции или следственных органов, а также персоналом, необходимым, чтоб выяснить адрес, пусть это даже и усложнено недавней перекройкой департаментов. Но, не говоря уж о том, что он может усладить себя куда более впечатляющими огнями, возникает серьезная трудность: перемещения Президента не остаются незамеченными, и когда ему

разок все-таки удалось смыться и никто не знал, куда именно он отправился поиграть в шарики с другими мальчишками, это его исчезновение вызвало такую бурю в стране, что навряд ли он снова решится выкинуть подобную штуку. Безусловно, Великий командор Почетного Легиона, Парижский Архиепископ, некоторые из моих знакомых академиков настолько выше всяких подозрений, что вполне можно бы их заподозрить. Среди них есть люди, из которых вышли бы просто прелестные пиromаны, и мне приходится призвать на помощь всю свою порядочность, чтоб не бросить на стол их имена. Увы! (Вздых.)

Итак, остановимся на господине Президенте — Генеральном Директоре «Пар-фё реюни», он обладает всеми необходимыми характеристиками, чтоб попасть под подозрение, и в то же время является лицом неофициального характера, анонимным или почти анонимным, что лишает дело, оставляя ему разве что легкий антикапиталистический душок, нежелательного политического аспекта, который приняла бы вся эта история, вздумай мы сделать виновником какого-то захудалого пожаришка в дальнем парижском пригороде, к примеру, Главу государства или прелата, ожидающего в недалеком будущем пурпурной кардинальской мантии.

Мы останемся, таким образом, в пределах правдоподобия, которое, не побоимся повторить это лишний раз, есть область и материя романа.

Пусть даже детективного.

Но именно потому, что мы дорожим правдоподобием, не приходится и говорить, как ни велик соблазн, о счастливой развязке нашей истории, то есть оправдании Персонажа и установлении пиromании господина П.— Г. Д. «П.-Ф. Р.», его аресте или самоубийстве перед арестом, поскольку подобный поворот событий относился бы в обществе, где мы живем, к чистой фантастике. А мы изо всех сил стараемся держаться подальше от этого жанра. Приходится, следовательно, отказаться от такого финала. Высокопоставленное Лицо может спать спокойно.

В этих условиях автору остается принять, не кочевряжась, единственно приемлемый исход истории — судебную ошибку, которая вот уже столетие, если не больше, узаконена в литературе. Конечно, это весьма пессимистическая развязка, не вполне благопристойная для романиста. Но что тут может поделать индивид, именуемый *автором*? Он ограничен строгими рамками «нового реализма», школы, ныне в высшей степени процветающей и почти не сталкивающейся с «протестом». Сия новаторская мода требует, чтоб у романа непременно был плохой конец, что, согласен, не так уж ново, но дает нам хоть минутную передышку от оптимизма, царившего вчера, который, впрочем, сегодня, безусловно, отверг бы какое-нибудь «они сыграли свадьбу, и у них родилось много детей», поскольку в наши дни такой финал был бы катастрофой.

В пределах правдоподобия... (Тут раздается стук в дверь, она отворяется, не дожидаясь ответа, входит с встревоженным видом Мария. Мсье... это полиция, они говорят, что пришли задержать автора... Одну минуточку, я сейчас.)

В пределах правдоподобия, сказал я, есть решение, которое имеет то преимущество, что оно не влечет за собой социальных и политических осложнений: если бы пироманом оказался тот, кто сочинил всю эту историю о доме, который должны поджечь, о неопределенности его местоположения, о всяких соображениях, предназначенных для того, чтоб отвести от себя самого подозрения, лживо бросив их на *бесконечно* — прошу вас обратить внимание на это наречие — *бесконечно* уважаемых или неуважаемых людей.

В конечном итоге, поскольку нет никаких обоснованных причин кончать, не лучше ли остановиться на этом, *задержав* автора.

18 ноября 1968 г.

Слепой

Эти письма валялись уже добрых два дня — одно в Марсель, другое в Японию. Мне без малого семьдесят, я плохо слышу, и я читаю стихи на языках, которых не понимаю. Получается примерно так же, как при разговоре по телефону: я могу угадать значение фраз, но не способен уловить собственные имена. Поэтому я не знаю, кто со мной говорит и откуда звонят. Особенно с тех пор, как чуть ли не во всех районах перешли на автоматику и вместо «Клебер» говорят 553, а вместо «Ваграм» — 924. Кстати, вы теперь можете определить время действия моего рассказа. Так о чем это я говорил? Ах да: в моем возрасте и в голову не приходит влюбляться. Разве что переспать раз-другой. Ну, а я, видите ли, влюблен. Нет, вы только представьте себе: глухой влюбленный! «Это лучше, — говорит мне М., — чем если бы ты был слепым!» Что, конечно, тоже не факт. А между тем письма — эти письма как раз она написала — валялись дома уже добрых два дня. Вчера вечером она мне говорит: «Знаешь, хоть в них ничего срочного нет, а все-таки... Из Марселя я жду ответа, да и из Токио тоже, а то начнется время летних отпусков...»

Итак, сегодня утром. Если бы речь шла только о письме в Марсель, было бы полбеды! Наклеишь тридцатифранковую марку — разумеется, в старых франках, — только и всего. А Япония — это уже авиапочта, значит, надо идти в почтовое отделение, взвешивать, спрашивать, сколько платить, да еще — это самое противное — возиться с международными купонами для ответа; четыре таких купона лежали на конверте, как четыре упрека. Я никогда купонами не пользуюсь, даже если пересылка письма в какой-нибудь Массачусетс или Кашмир стоит бешеных денег. В ку-

понах мне всегда чудится что-то нечестное, будто я их украл. Обычно я забываю их где-нибудь, отправляю — или не отправляю — письма без них, а потом, в один прекрасный день наводя порядок, я швыряю эти купоны в мусорную корзину и чувствую себя негодяем. Но все это я проделываю только с моей личной корреспонденцией. А тут мне надо было наконец решиться. В шестьдесят восемь лет терять невинность в связи с почтовыми купонами! Отправляя письма в Японию или Кению! Впрочем, это ненамного экстравагантнее, чем быть в моем возрасте влюбленным.

Итак, сегодня утром. Я ушел из дому украдкой. С письмами. И с четырьмя купонами. Спускаясь по лестнице, я их чуть не выронил, эти купоны. Я остановился и взял в левую руку бумажник. Это было и само по себе не очень удобно, а тут еще купоны все время норовили выскользнуть, да и конверты надо было не упустить. Я вышел на улицу, держа бумажник тем же манером.

Там мне тоже легче не стало. Раскрыть бумажник, сунуть в него купоны, следя при этом, чтобы письма не упали на землю. В бумажнике, кроме внутренних отделений и всяческих прорезей и щелок, на одной стороне есть маленькие кармашки — для марок и еще для чего-то, но я ими никогда не пользуюсь. Впрочем, для купонов они слишком малы, и, когда я пытался засунуть купоны в прорезь над кармашками, оттуда что-то выпало. Это была фотография М., маленькая и прелестная. Я подобрал ее и положил все между двумя створками бумажника, вместе с банкнотами. Все вперемешку. Ничего не поделаешь.

Когда я свернул на улицу Гренель, до почты еще надо было идти и идти... Из головы у меня не выходили проклятые купоны. Я уже не в силах был вспомнить, куда я их в конце концов запихнул. В руке я держал два письма. Ах да, в бумажник, ну конечно в бумажник. Я вытащил его, чтобы проверить. Там были деньги; я уронил тысячу франков — разумеется, старых — и подобрал их с земли. Пересчитал и сложил банкноты. Купоны я класть в бумажник уже не

стал. Зажал их в руке вместе со письмами. Бумажник, он меня чуть ли не в голос просил, чтобы я положил его во внутренний карман пиджака... Так со мною всю жизнь: нужные бумаги я сую между подкладкой пиджака и жилетом, марки теряю, в мелкой монете путаюсь, письма отправлять забываю — такой уж у меня характер. Я сразу же забываю, что делаю, потому что мысли у меня витают где-то очень далеко.

Я видел, как вот уже несколько минут со стороны улицы Бургонь, по левой стороне, навстречу мне движется человек — для вежливости скажем: пожилого возраста. Шел он довольно медленно и ощупывал палкой край тротуара. Поначалу я даже не понял, что он слепой, но потом разглядел, что палка у него белая. Слепые на меня всегда производят сильное впечатление, особенно с тех пор, как я оглох. Потому что глухой — это еще куда ни шло, а вот если еще вдобавок и ослепнешь! Я глядел на этого человека, который меня не видел, и представил себе вдруг эту ситуацию, так сказать, в перевернутом виде: я сразу сочинил роман, в котором главный персонаж — а может быть, даже и не главный — был слепой, но из тех слепых, которые, став слепыми давно, возможно даже с самого рождения, привыкли, приспособились к своему увечью... Все другие чувства... ну, там чутье, обоняние, но главное слух... заменили собой зрение, так что эти слепые узнают людей, ориентируются в том, чего мы не замечаем, даже видят многое такое, чего мы своими зрячими глазами не видим. Мой роман и был об этом зрении, которое вовсе не зрение, — роман о слепом, которому ведомо то, что для окружающих остается за семью печатями, и так далее... Мозги у меня работали сейчас полным ходом. В несколько секунд я навообразил целую кучу всяческих перипетий. Растормошить меня для такого дела ничего не стоит. Жена слепого — потому что он был, разумеется, женат — говорила ему: «Лучше быть слепым, чем глухим», и это представлялось ему бесспорным. Потому что если бы он оглох, он не мог бы услышать, как бьется сердце мужчины, стоящего рядом с его женой. А глаза — что нового вам откроют глаза?

Человек тем временем приближался, постукивая белой пал-

кой о край тротуара. Он был плохо выбрит, щеки — россыпь серых и белых точек.

Зажав письмо и международные купоны в руке, я все глубже уходил в свой роман. Так уж у меня голова устроена. Каких только чудес не произошло в ней за эти две минуты! Я с первых же мгновений уже ясно представил себе, как будут развиваться в романе события, хотя и... Перипетии. Да. Итак, в одно августовское утро он оглох. Именно в августовское — и прежде всего потому, что сейчас тоже было августовское утро, а еще потому, что в Париже в августе гораздо меньше машин, меньше шума на улицах, и первое время он не замечает своей глухоты, полагая, что все дело в сезоне. А потом — трагедия. Слепой — и вдобавок глухой! Лишь сделавшись глухим, он ощутил себя по-настоящему слепым. Отныне ему будет уже недоступно то, что всю жизнь позволяло различать вещи, людей. Трудно даже представить себе, какой это ужас — крошечная тьма в ушах. Когда ты уже не только не знаешь, откуда идет звук, и не только путаешь собственные имена... Тук-тук. Он колотил палкой по краю тротуара. Не глухой и слепой из романа, нет — просто слепой с улицы Гренель... Он поравнялся со мной и пошел дальше, я обернулся, чтобы посмотреть, как он удаляется: тук-тук — стучала белая палка. Я дошел до почты.

Честно говоря, мы нередко придумываем проблемы там, где их нет. Взять, например, международные купоны. Все ведь так просто. Я спрашиваю себя, почему до шестидесяти восьми лет это являлось для меня такой сложной проблемой. Спрашиваю себя, спрашиваю вас. Наверно, потому, что человек глуп, да, да, глуп. Чтобы отправить письмо в Японию, обращаешься, разумеется, в окошко «Авиапочта». Служащая берет письмо, кладет на весы, затем короткая пауза, и ты недоумеваешь, чем мог ее так удивить вес твоего письма. Потом на листке бумаги она производит подсчет. Потому что купоны ты ей уже отдал вместе с письмом. Да, кстати, ведь я же не посмотрел, в каких деньгах на них указана стоимость — в наших франках и сантимах или в... как же теперь называются японские деньги? Я собирал марки между

1905 и 1910 годами, и тогда на марках Японии стоимость значилась в иенах. Но дама в окошке, видно, привыкла иметь дело с иенами, как со старыми, так и с новыми. Она говорит мне: «Трех купонов достаточно, а стоимость четвертого я могу, если хотите, вернуть вам почтовыми марками». У меня в голове мелькнуло было в ответ: «Да ведь я больше почтовых марок не собираю». Но тут я заметил у себя в левой руке письмо в Марсель и решил не отказываться от марок. Заметьте себе, я не так уж плохо все рассчитал, потому что дама вернула мне в качестве сдачи две марки по тридцать франков, я хочу сказать — по тридцать сантимов. Для письма в Марсель хватает одной. На сей раз я не торопился; перед окошком был удобный прилавок, так что, ничего не уронив, я аккуратно вложил лишнюю марку в кармашек бумажника, куда не входят международные купоны. Японец, очевидно, ошибся в вычислениях: для ответа не понадобилось так много купонов. Но тем хуже для него. В конечном счете.

На улице Гренель, по пути домой, я попытался вспомнить, на чем я остановился в романе. Никто не знает, видят ли кузнечики. Но они слышат — это бесспорно. В Провансе я часто проделывал такой опыт — в саду или в поле. Берется кузнечик, который стрекочет где-то поблизости. Можете двигаться, можете идти по направлению к нему — он стрекочет по-прежнему. Он не видит, что вы к нему приближаетесь. Потом, на некотором расстоянии от вас, причем всегда на одном и том же, он умолкает. Можете повторить свой опыт хоть десять раз. Отметьте точное место, куда вы ступали, и окажется, что замолчать вы его заставляете всегда с одной и той же точки. С этого расстояния он уже слышит... Какое отношение имеет это к моему роману? Сразу этого не увидишь, но достаточно поразмыслить, чтобы услышать...

Мой недавний слепой снова шел мне навстречу — теперь со стороны улицы Бак. В конце концов это мог быть и другой слепой. Издали его палка не показалась мне белой. Но когда он подошел ко мне на расстояние кузнечика, я совершенно точно узнал и палку, и человека: я услышал, как стучит его палка по краю тротуара — или, может быть, угадал, как она

стучит. Это был тот же звук, который я слышал по дороге на почту, и в нем была та же размеренность. Если бы палка говорила, я бы слов не разобрал, но различил бы ритм, в котором бьется ее речь: два удара одинаковых, третий послабее, два удара одинаковых... по стуку можно было узнать этого человека так же безошибочно, как узнают людей по усам или по бородавке на носу. Заметьте, пожалуйста, что это не я слепой, просто я стал воображать слепоту,— улавливаете ход моих мыслей? Теперь, когда он оглохнет, он больше не будет знать, обманывает его жена или нет. Он больше не услышит стука человеческих сердец. Может быть, для него останется запах... или изменение электрического поля...

Едва только я поравнялся со своим слепым, как у меня возникло ощущение, что он меня окликает. Так как я прошел уже мимо, я не видел его, я просто не мог его видеть, не мог видеть его жесты, но палка как будто перестала стучать; правда, я мог и ошибиться. Я обернулся. Слепой тоже обернулся ко мне. И заговорил со мной так, словно видел:

— Мсье! Мсье!... Это вы? Мне кажется, я вас узнал...

Я даже не успел удивиться; может быть, от меня пахло кофе с молоком; он говорил, он протягивал мне какой-то кусочек бумаги:

— Ведь это я с вами повстречался несколько минут назад, когда шел в ту сторону, да? Значит, это вы... посмотрите, пожалуйста, сами... не вы ли это потеряли?— Он протягивал мне фотографию М., которую я, должно быть, выронил, когда вынимал из бумажника международные купоны. Я оторопел. Как мог слепой... А он добавил:— Очаровательная женщина... Это ваша подружка? В вашем возрасте... Да, вы счастливчик!

И он пошел дальше, постукивая палкой по краю тротуара. Я глядел ему вслед. Когда он удалился от меня на расстояние кузнечика, стук прекратился — это было как зеркальное отражение того, что происходило ночами в Провансе; во всяком случае, я перестал его слышать. Меня вдруг поразила странность всего этого дела, и я вытащил бумажник — не для того, чтобы положить в него фотографию, а чтобы проверить одну вещь... Но нет, лишняя марка оказалась на месте.

Содержание

- 5 *Татьяна Кудрявцева. Несколько слов о большом писателе и неизменном нашем друге*
- 13 *Римского права больше нет.*
Перевод И. Огородниковой
- 53 *Молодые люди. Перевод Е. Шишмаревой*
- 80 *Встречи. Перевод Е. Шишмаревой*
- 101 *Наседка. Перевод М. Ваксмахера*
- 114 *Римские свидания. Перевод Л. Токарева*
- 144 *Шекспир в мебелишках. Перевод Л. Зониной*
- 153 *Поджог. Перевод Л. Зониной*
- 165 *Слепой. Перевод М. Ваксмахера*

Арагон Л.

- А79 Римские свидания: Рассказы./Пер. с франц. Сост. и предисл. Т. Кудрявцевой.— М.: Известия, 1984.—176 с. (Библиотека журнала «Иностранная литература»)**

В книгу вошли рассказы разных лет выдающегося французского писателя, лауреата международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» Луи Арагона.

**А 4703000000-121 80-84
074(02)-84**

**ББК 84.4Фр
И(Фр)**

ЛУИ АРАГОН

РИМСКИЕ СВИДАНИЯ

Ответственный за выпуск *В. Перехватов*

Редактор *А. Николаевская*

Художественный редактор *С. Мухин*

Технический редактор *Г. Голосовская*

Корректор *Л. Шмелева*

ИБ № 847

Сдано в набор 5.11.84. Подписано в печать 20.04.84. Формат 70×100/32. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 7,15. Уч.-изд. л. 8,65. Тираж 50 000 экз. Заказ № 983. Цена 95 к.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР». 103791, Москва, Пушкинская пл., 5.

Можайский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 143200, Можайск, ул. Мира, 93.

В библиотеке журнала
«Иностранная литература»
в 1982—1983 годах вышли в свет:

Герман Кант (ГДР) — ОБЪЯСНИМОЕ ЧУДО

Ясуси Иноуэ (Япония) — ТРИ НОВЕЛЛЫ

Леонардо Шаша (Италия) — ПАЛЕРМСКИЕ УБИЙЦЫ

Сьюзен Хилл (Великобритания) — САМЕРВИЛ

Хоакин Сантана (Куба) — ВОСПОМИНАНИЯ ОБ УЛИЦЕ
МАГНОЛИИ

Вити Ихимаэра (Новая Зеландия) — В ПОИСКАХ
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА

Арман Лану (Франция) — ПЕСОЧНЫЕ ЗАМКИ

Надин Гордимер (ЮАР) — ДОМ ИНКАЛАМУ

Яшар Кемаль (Турция) — ЛЕГЕНДА ГОРЫ

Джон Чивер (США) — ЕЩЕ ОДНА ЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ

Иоахим Новотный (ГДР) — НОВОСТЬ

Рэй Брэдбери (США) — В ДНИ ВЕЧНОЙ ВЕСНЫ

Тонино Гуэрра (Италия) — СТАЯ ПТИЦ

Сид Чаплин (Великобритания) — ТОНКИЙ ШОВ

Натали Саррот (Франция) — ВЫ СЛЫШИТЕ ИХ?

Радослав Михайлов (Болгария) — ВЛАСТИТЕЛИ ЗЕМЛИ

Юхан Борген (Норвегия) — ДЕКАБРЬСКОЕ СОЛНЦЕ

Вильям Сассин (Гвинея) — ВИРЬЯМУ

Джеймс Джойс (Ирландия) — ДУБЛИНЦЫ

Эржебет Галгоци (Венгрия) — ВДОВА СЕЛА

Хуан Карлос Онетти (Уругвай) — ЛИЦО НЕСЧАСТЬЯ

Армандо Роблес Годой (Перу) — В СЕЛЬВЕ НЕТ ЗВЕЗД

Йозеф Пушкаш (Чехословакия) — ПРИЯТНЫЕ
РАЗОЧАРОВАНИЯ

Фарли Моуэт (Канада) — ВПЕРЕД, МОЙ БРАТ, ВПЕРЕД!

Костас Варналис (Греция) — ДНЕВНИК ПЕНЕЛОПЫ

Алан Маршалл (Австралия) — ПИШУ О ТЕХ, КОГО ЛЮБЛЮ

Ярослав Гашек (Чехословакия) — ТАЛАНТЛИВЫЙ
ЧЕЛОВЕК

Элио Витторини (Италия) — СИЦИЛИЙСКИЕ БЕСЕДЫ

Сётаро Ясуока (Япония) — МОРСКОЙ ПЕЙЗАЖ

Франсуа Мориак (Франция) — АГНЕЦ

Мигель Делибес (Испания) — ОПАЛЬНЫЙ ПРИНЦ

Яхья Яхлюф (Палестина) — НАДЖРАН В ЧАС
ИСПЫТАНИЙ

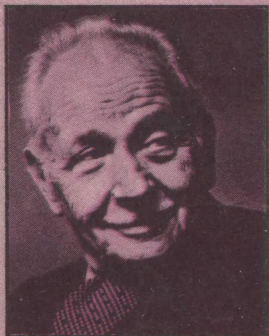
Мария Луиза Кашниц (ФРГ) — ДЛИННЫЕ ТЕНИ

Меджа Мванги (Кения) — ЖЕРТВА ДЛЯ ГОНЧИХ ПСОВ

Михаил Садовяну (Румыния) — ЧЕКАН

ВАЛЛИЙСКИЙ РАССКАЗ

Энгус Уилсон (Великобритания) — ЧТО ЕДЯТ БЕГЕМОТЫ



ЛУИ АРАГОН (1897—1982) — выдающийся поэт-коммунист, общественный деятель и борец за мир.

Лауреат Международной Ленинской премии "За укрепление мира между народами".

В годы второй мировой войны — активный участник движения Сопротивления.

Арагону принадлежит несколько поэтических сборников, среди них "Ура, Урал!", "Нож в сердце", "Глаза Эльзы", "Неоконченный роман", "Поэты", "Прощания".

Среди прозаических книг особое место занимает цикл романов под единым названием "Реальный мир", последняя часть которого — многотомная эпопея "Коммунисты" — была завершена в 1951 году.

При жизни писателя было издано собрание прозаических произведений

Луи Арагона и Эльзы Триоле в 42-х томах.

Арагон был главным редактором известной серии "Советские литературы" (издательство "Галлимар").

Тут Арагон • Римские святины

22